

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

РУССКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ

Составители: Н. А. Купина, Т. В. Матвеева

Пермь
1993

Купина Н. А., д. ф. н., проф. Уральского университета, Матвеева Т. В., д. ф. н., проф. Уральского университета, Русское красноречие. Хрестоматия. — 1993. — с. 147.

Хрестоматия представляет собой опыт систематизации образцов русского красноречия второй половины XIX—XX веков. В ней представлены публицистические речи, образцы судебного, церковного и политического красноречия. При отборе текстов составители ориентировались на гуманитарную проблематику в границах русской культуры, но более всего — на нравственный авторитет и риторическое мастерство авторов выступлений.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ РЕЧИ	7
И. С. Тургенев. Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве	
Ф. М. Достоевский. Пушкин	15
Д. С. Мережковский. Памяти Тургенева	28
К. И. Чуковский. Оксфордская речь. (Фрагменты)	31
А. И. Солженицын. Нобелевская лекция	34
А. Д. Сахаров. Мир, прогресс, права человека. Нобелевская лекция	47
И. А. Бродский. Нобелевская лекция	58
II. СУДЕБНЫЕ РЕЧИ	
Речь присяжного поверенного П. А. Александрова в защиту В. И. Засулич	69
Обвинительная речь А. Ф. Кони по делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем.	88
Речь адвоката Ф. Н. Плевако в защиту А. М. Бартенева	102
III. ОБРАЗЦЫ ЦЕРКОВНОГО КРАСНОРЕЧИЯ	
Проповеди отца Александра Меня	120
Притча о богаче Лазаре	120
Обращение Закхея	122
Притча о брачном пире	124
Мысли о вечном (Воскресная проповедь архиепископа Кирилла)	127
Рождественское послание Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви	131
IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЧИ	
П. А. Столыпин. Речь о земельном законопроекте и землеустройстве крестьян, произнесенная в Государственной Думе 5 декабря 1908 г.	134
А. Н. Толстой. Несколько слов перед отъездом	138
А. Д. Сахаров. Выступление на I Съезде народных депутатов СССР	141
Д. С. Лихачев. Речь на I Съезде народных депутатов СССР	142

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ясно осознанная сегодня потребность возрождения и обновления отечественных традиций относится, в частности, и к традициям русского красноречия, которыми Россия по праву может гордиться.

Стратегия преподавания всех речеведческих дисциплин — развития речи, речевого этикета, культуры речи и других — направлена, в конечном счете, на формирование речевой индивидуальности в границах русских риторических и, шире, культурных традиций. Риторика связана с высшим уровнем речевой компетенции. На этом уровне все культурно-речевые знания и навыки обобщаются под углом зрения авторского замысла и включаются в индивидуально-культурный контекст личности.

Для становления риторической эрудиции, оценки собственной речевой деятельности с позиций речевого идеала необходимо обращение к риторическим образцам.

На объективных основаниях образцовым в риторическом плане может считаться коммуникативно адекватный текст, т. е. текст, который соответствует всем требованиям коммуникации. В нем разворачивается авторский замысел и воплощается личность оратора, учитывается характер адресации, содержится отклик на требования ситуации; он соотнесен с темой высказывания и системой норм литературного языка. Фундаментальный базис образцового текста — этический кодекс нации: нравственная система взглядов и действий, которая определяет направление всех поступков человека. В риторически образцовом тексте четко прослеживается личная нравственная позиция автора, его отношение к предмету речи, а также к противоположной точке зрения. Языковой вкус и чувство меры не допускают механического перехода в морализаторство, обеспечивают естественность имеющихся в тексте нравственных установок.

Помимо объективных факторов, при определении образцового текста действуют и субъективные: ведь образцовый текст — это эстетически значимое речевое произведение, а эстетические оценки нередко носят вкусовой субъективный характер. Добавим еще фактор времени: каждый текст — явление культурно-историческое, определяемое контекстом исторических событий различного масштаба. Именно этот факт способен на наш взгляд, превратить потенциально образцовый текст в текст подлинно образцовый. Долговременность впечатления о тексте, воспроизведение текста и отсылки к нему как к интеллектуально, нравственно, эстетически ценному явлению культурной реальности — доказательство его образцовости в границах данной культуры.

Образцовые тексты характерны для различных сфер человеческой деятельности. В хрестоматию вошли образцы публицистических выступлений, судебного и церковного красноречия, речи политической направленности. Все они были реально преподнесены в устной форме или подготовлены в расчете на устное публичное преподнесение, все имеют запланированную стратегию и отвечают русскому риторическому идеалу. В каждом отдельном случае мы можем проследить, как на строго соблюдаемом базисе русской литературной нормы утверждается неповторимая речевая индивидуальность автора. Подлинная духовность, высоко развитый интеллект, индивидуальность речевой манеры не могут не вызывать сопереживание адресата. Конечно, время стирает некоторые нюансы и краски устных публичных выступлений, но оно же высвечивает их нравственно-эстетическое совершенство, обеспечивающее долгую жизнь речевых произведений.

Временные рамки хрестоматии — от второй половины XIX века до наших дней, но каждый включенный в нее текст, на взгляд составителей, строен логически, современен психологически, корректен этически. Поэтому хрестоматия могла бы использоваться в качестве книги для чтения, но все же главное ее предназначение — быть пособием на занятиях по риторике в школе, вузе или другом образовательном учреждении.

Мы не предлагаем заданий и упражнений к отдельным текстам. Каждый из них может быть повернут преподавателем в плоскость любой избранной им риторической темы. Лишь группировка текстов в отдельных случаях подсказывает направление возможных наблюдений. Однотемные тексты (юбилейные речи о знаменитых писателях), тексты одного жанра (лекции Нобелевских лауреатов), тексты разной целеустановки в пределах одной ситуации (обвинительная и за-

щитная речи на судебном процессе) позволяют сосредоточиться на характере различий в пределах соответствующей группировки.

Мы надеемся, что материалы хрестоматии окажутся полезными для изучения риторики и помогут осмыслить традиции русского красноречия.

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ РЕЧИ

И. С. Тургенев

Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве (1880)

Мм. гг.! Сооружение памятника Пушкину, в котором участвовала, которому сочувствует вся образованная Россия и на празднование которого собралось так много наших лучших людей, представителей земли, правительства, науки, словесности и искусства, — это сооружение представляется нам данью признательной любви общества к одному из самых достойных его членов. Постараемся в немногих чертах определить смысл и значение этой любви.

Пушкин был первым русским художником-поэтом. Художество, принимая это слово в том обширном смысле, который включает в его область и поэзию, — художество как воспроизведение, воплощение идеалов, лежащих в основах народной жизни и определяющих его духовную и нравственную физиономию, — составляет одно из коренных свойств человека. Уже предчувствуемое и указанное в самой природе, художество — искусство — является, правда, тоже как подражание, но уже одухотворенное в самой ранней поре народного существования, как нечто отличительно-человеческое. Дикарь каменного периода, начертавший концом кремня на приспособленном обломке кости медвежью или лосиную голову, уже перестал быть дикарем, животным. Но только тогда, когда творческою силою избранников народ достигает сознательно полного, своеобразного выражения своего искусства, своей поэзии — он тем самым заявляет свое окончательное право на собственное место в истории; он получает свой духовный облик и свой голос — он вступает в братство с другими, признавшими его народами. Недаром же Греция называется родиной Гомера, Германия — Гете, Англия — Шекспира. Мы не думаем отрицать важность других проявле-

ний народной жизни — в сфере религиозной, государственной и др.; но ту особенность, на которую мы сейчас указывали, — дает народу его искусство, его поэзия. И этому нечего удивляться: искусство народа — его живая, личная душа, его мысль, его язык в высшем значении этого слова; достигнув своего полного выражения, оно становится достоянием всего человечества даже больше, чем наука, именно потому, что оно — звучащая, человеческая, мыслящая душа, и душа не умирающая, ибо может пережить физическое существование своего тела, своего народа. Что нам осталось от Греции? Ее душа осталась нам! Религиозные формы, а за ними научные, также переживают народы, в которых они проявились, но в силу того, что в них есть общего, вечного; поэзия, искусство — в силу того, что в них есть личного, живого.

Пушкин, повторяем, был нашим первым поэтом-художником. В поэте, как в полном выразителе народной сути, сливаются два основных ее начала: начало восприимчивости и начало самодеятельности, женское и мужское начало, — осмелились мы бы прибавить. У нас же, русских, позднее других вступивших в круг европейской семьи, оба эти начала получают особую окраску; восприимчивость у нас является двойственной: и на собственную жизнь, и на жизнь других западных народов со всеми ее богатствами — и подчас горькими для нас плодами; а самодеятельность наша получает тоже какую-то особенную, неравномерную, порывистую, иногда зато гениальную силу: ей приходится бороться и с чуждым усложнением, и с собственными противоречиями. Вспомните, мм. гг., Петра Великого, натура которого как-то родственна натуре самого Пушкина. Недаром же он питал к нему особенное чувство любовного благоговения! Эта двойственная восприимчивость, о которой мы сейчас говорили, знаменательно отразилась в жизни нашего поэта: сперва рождение в стародворянском барском доме, потом иноземческое воспитание в лицее, влияние тогдашнего общества, проникнутого извне занесенными принципами; Вольтер, Байрон и великая народная война 12-го года; а там удаление в глубь России, погружение в народную жизнь, в народную речь, и знаменитая старушканиня с ее эпическими рассказами... Что же касается до самодеятельности, то она в Пушкине возбудилась рано и, быстро утратив свой ищущий, неопределенный характер, превратилась в свободное творчество. Ему и восемнадцати лет не было, когда Батюшков, прочитав его элегию: «Редеет облаков летучая гряда», воскликнул: «Злодей! как он начал писать!» Батюшков был прав: так еще никто не писал на Руси. ...Независимый гений Пушкина скоро — если не считать немногих и незначительных уклонений — освободился и от подражания

европейским образцам и от соблазна подделки под народный тон. Подделываться под народный тон, вообще под народность — так же неуместно и бесплодно, как и подчиняться чуждым авторитетам: лучшим доказательством тому служат: с одной стороны — сказки Пушкина, с другой — «Руслан и Людмила», самые слабые, как известно, изо всех его произведений. С неуместностью подражания чужим авторитетам согласятся, конечно, все; о, быть может, возразят иные: если поэт в своих трудах не будет постоянно иметь в виду, иметь целью родной народ, он никогда не станет его поэтом: народ, простой народ его читать не будет. Но, мм. гг., какой же великий поэт читается теми, кого мы называем простым народом? Немецкий простой народ не читает Гете, французский — Мольера, даже английский не читает Шекспира. Их читает — их нация. Всякое искусство есть возведение жизни в идеал: стоящие на почве обычной, ежедневной жизни, остаются ниже того уровня. Это вершина, к которой надо приблизиться. И все-таки Гете, Мольер и Шекспир — народные поэты в истинном значении слова, то есть национальные. Позволим себе сравнение: Бетховен, например, или Моцарт, несомненно национальные, немецкие композиторы, и музыка их по преимуществу немецкая музыка; между тем ни в одном из их произведений вы не найдете следа не только заимствований у простонародной музыки, но даже сходства с нею, именно потому, что эта народная, еще стихийная музыка перешла к ним в плоть и кровь, оживотворила их и потонула в них так же, как и самая теория их искусства, — так же, как исчезают, например, правила грамматики в живом творчестве писателя. В иных, еще более отдаленных от той ежедневной почвы, более в себе замкнутых отраслях искусства самое название «народный» — немыслимо. Есть национальные живописцы: Рафаэль, Рембрандт; народных живописцев нет. Заметим кстати, что выставлять лозунг народности в искусстве, поэзии, литературе свойственно только племенам слабым, еще не созревшим или же находящимся в порабощенном, угнетенном состоянии. Поэзия их должна служить другим, конечно, важнейшим целям — сбережению самого их существования. Слава Богу, Россия не находится в подобных условиях; она не слаба и не порабощена другому племени. Ей нечего дрожать за себя и ревниво сберегать свою самостоятельность; в сознании своей силы она даже любит тех, кто указывает ей на ее недостатки.

Возвратимся к Пушкину. Вопрос: может ли он называться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гете и др., мы оставим пока открытым. Но нет сомнения, что он создал наш поэтический, наш литературный язык и что нам и нашим по-

томкам остается только идти по пути, проложенному его гением. Из выше сказанных нами слов вы могли уже убедиться, что мы не в состоянии разделять мнения тех, конечно, добросовестных людей, которые утверждают, что настоящего русского литературного языка вовсе не существует; что нам его даст один простой народ вместе с другими спасительными учреждениями. Мы, напротив, находим в языке, созданном Пушкиным, все условия живучести: русское творчество и русская восприимчивость стройно слились в этом великолепном языке, и Пушкин сам был великолепный русский художник.

Именно: русский! Самая сущность, все свойства его поэзии совпадают со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силе и ясности его языка — это прямодушная правда, отсутствие лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущений — все эти хорошие черты хороших русских людей поражают в творениях Пушкина не одних нас, его соотечественников, но и тех из иностранцев, которым он стал доступен. Суждения таких иностранцев бывают драгоценны: их не покупает патриотическое увлечение. «Ваша поэзия, — сказал нам однажды Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина, которого он, не обинуясь, называл величайшим поэтом своей эпохи, чуть ли не в присутствии самого Виктора Гюго, — ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому им представит возможность не оскорблять правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу»... «У Пушкина, — прибавлял он, — поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы». Тот же Мериме ... сравнивал Пушкина с древними греками по равномерности формы и содержания образа и предмета, по отсутствию всяких толкований и моральных выводов. ...

Да, Пушкин был центральный художник, человек близко стоящий к самому средоточению русской жизни. Этому его свойству должно приписать и ту мощную силу самобытного присвоения чужих форм, которую сами иностранцы признают за нами, правда, под несколько пренебрежительным именем способности к «ассимиляции». Это свойство дало ему возможность создать, например, монолог «Скупого рыцаря», под которым с гордостью подписался бы Шекспир. Поразительна также в поэтическом темпераменте Пушкина эта особенная смесь страстности и спокойствия, или, говоря точнее, эта объективность его дарования, в котором субъективность его

личности сказывается лишь одним внутренним жаром и огнем.

Все так... Но можем ли мы по праву назвать Пушкина национальным поэтом в смысле всемирного (эти два выражения часто совпадают), как мы называем Шекспира, Гете, Гомера?

Пушкин не мог всего сделать. Не следует забывать, что ему одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделенные целым столетием и более, а именно: установить язык и создать литературу. К тому же над ним тоже отяготела та жестокая судьба, которая с такой почти злойрадной настойчивостью преследует наших избранников. Ему и тридцати семи лет не минуло, когда она его вырвала от нас. Без глубокой грусти, без какого-то тайного, хоть и беспредметного негодования нельзя читать слова, начертанные им в одном его письме, за несколько месяцев до смерти: «Моя душа расширилась: я чувствую, что я могу творить». Творить! А уже отливалась та глупая пуля, которая должна была положить конец его расцветающему творчеству! Быть может, уже отливалась тогда и та, другая пуля, которая предназначалась на убийство другого поэта, пушкинского наследника, начавшего свое поприще с известного, негодующего стихотворения, внушенного ему гибелью его учителя... Но не будем останавливаться на этих трагических случайностях, тем более трагических, что они случайны. Из этой тьмы возвратимся к свету; возвратимся к поэзии Пушкина.

Здесь не место и не время указывать на отдельные его произведения: другие это сделают лучше нас. Ограничимся замечанием, что Пушкин в своих созданиях оставил нам множество образов, типов (еще один несомненный признак гениального дарования!), — типов того, что совершилось потом в нашей словесности. Вспомните хоть сцену корчмы из «Бориса Годунова», «Летопись села Горюхина» и т. д. А такие образы, как Пимен, как главные фигуры «Капитанской дочки», не служат ли они доказательством, что и прошедшее жило в нем такую же жизнью, как и настоящее, как и предсознанное им будущее?

А между тем и Пушкин не избег общей участи художников-поэтов, начинателей. Он испытал охлаждение к себе современников; последующие поколения еще более удалились от него, перестали нуждаться в нем, воспитываться на нем, и только в недавнее время снова становится заметным возвращение к его поэзии. Пушкин сам предчувствовал это охлаждение публики. Как известно, он в последние годы своей жизни, в лучшую пору своего творчества, уже почти ничем не делился с читателями, оставляя в портфеле такие произведе-

ния, как «Медный всадник». Он до некоторой степени не мог не чувствовать пренебрежения к публике, которая приучилась видеть в нем какого-то сладкопевца, соловья... Да и как нам винить его, когда вспомнишь, что даже такой умный и пронзительный человек, как Баратынский, призванный вместе с другими разбирать бумаги, оставшиеся после смерти Пушкина, не усомнился воскликнуть в одном письме, адресованном тоже к умному приятелю: «Можешь ты себе представить, что меня больше всего изумляет во всех этих поэмах? Обилие мыслей! Пушкин — мыслитель! Можно ли было это ожидать?» Все это Пушкин предчувствовал. Доказательством тому известный сонет («Поэту», 1 июля 1830 г.), который мы просим позволения прочесть перед вами, хотя, конечно, каждый из вас его знает... Но мы не можем противиться искушению украсить этим поэтическим золотом нашу скудную, прозаическую речь:

Поэт! Не дорожи любовью народной!
Восторженных похвал пройдет минутный шум,
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд,
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит,
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И с детской резвостью колеблет твой треножник.

Пушкин тут, однако, не совсем прав — особенно в отношении к последовавшим поколениям. Не в «суде глупца» и не в «смехе толпы холодной» было дело; причины того охлаждения лежали глубже. Они достаточно известны. Нам приходится воззвать их в нашей памяти. Они лежали в самой судьбе, в историческом развитии общества, в условиях, при которых зарождалась новая жизнь, вступившая из литературной эпохи в политическую. Возникли неожиданные и, при всей неожиданности, законные стремления, небывалые и неотразимые потребности; явились вопросы, на которые нельзя было не дать ответа... Не до поэзии, не до художества стало тогда. Одинаково восхищаться «Мертвыми душами» и «Медным всадником» или «Египетскими ночами» могли только записные словесники, мимо которых пробежали сильные, хотя и мутные волны той новой жизни. Миросозерцание Пушкина показалось узким, его горячее сочувствие нашей, иногда офи-

циальной славе — устарелым, его классическое чувство меры и гармонии — холодным анахронизмом. Из белораморного храма, где поэт являлся жрецом, где, правда, горел огонь... но на алтаре — и сожигал... один фимиам, — люди пошли на шумные торжища, где именно нужна метла... и метла нашлась. Поэт-эхо, по выражению Пушкина, поэт центральный, сам к себе тяготеющий, положительный, как жизнь на покое — сменился поэтом-глашатаем, центробежным, тяготеющим к другим, отрицательным, как жизнь в движении. Самый главный, первоначальный истолкователь Пушкина, Белинский, сменился другими судьями, мало ценившими поэзию. Мы произнесли имя Белинского — и хотя ничья похвала не должна раздаваться сегодня рядом с похвалой Пушкину, но вы, вероятно, позволите нам почтить сочувственным словом память этого замечательного человека, когда узнаете, что ему выпала судьба скончаться именно в день 26-го мая, в день рождения поэта, который был для него высшим проявлением русского гения! — Возвращаемся к развитию нашей мысли. Вслед за скоро прерванным голосом Лермонтова, когда Гоголь стал уже властителем людских дум, зазвучал голос поэта «мести и печали», а за ним пошли другие — и повели за собою нарастающие поколения. Искусство, завоевавшее творениями Пушкина право гражданства, несомненность своего существования, язык, им созданный, — стало служить другим началам, столь же необходимым в общественном устройении. Многие видели и видят до сих пор в этом изменении простой упадок; но мы позволим себе заметить, что падает, рушится только мертвое, неорганическое. Живое изменяется органически — ростом. А Россия растет, не падает. Что подобное развитие — как всякий рост — неизбежно сопряжено с болезнями, мучительными кризисами, с самыми злыми, на первый взгляд, безвыходными противоречиями — доказывать, кажется, нечего; нас этому учит не только всеобщая история, но даже история каждой отдельной личности. Сама наука нам говорит о необходимых болезнях. Но смущаться этим, оплакивать прежнее, все-таки относительное спокойствие, стараться возвратиться к нему — и возвращать к нему других, хотя бы насильно — могут только отжившие или близорукие люди. В эпохи народной жизни, носящие названия переходных, дело мыслящего человека, истинного гражданина своей родины — идти вперед, несмотря на трудность и часто грязь пути, но идти, не теряя ни на миг из виду тех основных идеалов, на которых построен весь быт общества, которого он состоит живым членом. И десять и пятнадцать лет тому назад — празднество, которое привлекло нас всех сюда, было бы приветствовано как акт справедливости, как дань общественной бла-

годарности; но, быть может, не было бы того чувства единодушия, которое проникает теперь нас всех, без различия звания, занятий и лет. Мы уже указали на тот радостный факт, что молодежь возвращается к чтению, изучению Пушкина; но мы не должны забывать, что несколько поколений сподряд прошли перед нашими глазами, — поколений, для которых самое имя Пушкин было не что иное, как только имя, в числе других обреченных забвению имен. Не станем, однако, слишком винить эти поколения; мы старались вкратце изобразить, почему это забвение было неизбежно. Но мы не можем также не радоваться этому возврату к поэзии. Мы радуемся ему особенно потому, что наши юноши возвращаются к ней не как расквашенные люди, которые, разочарованные в своих надеждах, утомленные собственными ошибками, ищут пристанища и успокоения в том, от чего они отвернулись. Мы скорее видим в том возврате симптом хотя некоторого удовлетворения; видим доказательство, что хотя некоторые из тех целей, для которых считалось не только дозволенным, но и обязательным приносить все не идущее к делу в жертву, сжимать всю жизнь в одно русло, — что эти некоторые цели признаются достигнутыми, что будущее сулит достижение других — и ничто уже не помешает поэзии, главным представителем которой является Пушкин, занять свое законное место среди прочих законных проявлений общественной жизни. Была пора, когда изящная литература служила почти единственным выражением этой жизни; потом наступило время, когда она совсем сошла с арены... Прежняя область была слишком широка; вторая сузилась до ничтожества; найдя свои естественные границы, поэзия упрочится навсегда. Под влиянием старого, но не устаревшего учителя — мы твердо этому верим, — законы искусства, художнические приемы вступят опять в свою силу — и — кто знает? быть может, явится новый, еще неведомый избранник, который превзойдет своего учителя — и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину, хоть и не дерзаем его отнять у него.

Как бы то ни было, заслуги Пушкина перед Россией велики и достойны народной признательности. Он дал окончательную обработку нашему языку, который теперь по своему богатству, силе, логике и красоте формы признается даже иностранными филологами едва ли не первым после древнегреческого; он отозвался типическими образами, бессмертными звуками на все веяния русской жизни. Он первый, наконец, водрузил могучей рукою знамя поэзии глубоко в русскую землю; и если пыль поднявшейся после него битвы затемнила на время это светлое знамя, то теперь, когда эта

пыль начинает опадать, снова засиял в вышине водруженный им победоносный стяг. Сияй же, как он, благородный медный лик, воздвигнутый в самом сердце древней столицы, и гласи грядущим поколениям о нашем праве называться великим народом потому, что среди этого народа родился, в ряду других великих, и такой человек! И как о Шекспире было сказано, что всякий, вновь выучившийся грамоте, неизбежно становится его новым чтецом.— так и мы будем надеяться, что всякий наш потомок, с любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение этой любви, тем самым докажет, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образованным, более свободным человеком! Пусть это последнее слово не удивит вас, мм. гг.! В поэзии — освободительная, ибо возвышающая, нравственная сила. Будем также надеяться, что в недалеком времени даже сыновьям нашего простого народа, который теперь не читает нашего поэта, станет понятно, что значит это имя: Пушкин! — и что они повторят уже сознательно то, что нам довелось недавно слышать из бессознательно лепечущих уст: «Это памятник — учителю!»

1880

Ф. М. Достоевский

Пушкин

Произнесено 8 июня в заседании Общества
любителей российской словесности

Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. Я делю деятельность нашего великого поэта на три периода. Говорю теперь не как литературный критик: касаясь творческой деятельности Пушкина, я хочу лишь мою мысль о пророческом для нас значении его

и что я в этом слове разумею. Замечу, однакоже, мимоходом, что периоды деятельности Пушкина не имеют, кажется мне, твердых между собою границ. Начало «Онегина», например, принадлежит, по-моему, еще к первому периоду деятельности поэта, а кончается «Онегин» во втором периоде, когда Пушкин нашел уже свои идеалы в родной земле, восприял и возлюбил их всецело своею любящею и прозорливою душой. Принято тоже говорить, что в первом периоде своей деятельности Пушкин подражал европейским поэтам: Парни, Андре Шенье и другим, особенно Байрону. Да, без сомнения, поэты Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние это во всю его жизнь. Тем не менее даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием, так что и в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения. В подражаниях никогда не проявляется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания, которые явил Пушкин, например, в «Цыганах» — поэме, которую я всецело отношу еще к первому периоду его творческой деятельности. Не говорю уже о творческой силе и о стремительности, которой не явилось бы столько, если б он только лишь подражал. В типе Алеко, героя поэмы «Цыганы», сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте в «Онегине», где почти тот же Алеко является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо реальном и понятном виде. В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского — интеллигентного общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится, — конечно, пока дело только в теории. Это все тот же русский человек, только в разное время явившийся. Человек этот, повторяю, зародил-

ся как раз в начале второго столетия после великой петровской реформы, в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа, от народной силы. О, огромное большинство интеллигентных русских и тогда, при Пушкине, как и теперь, в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживают разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читают лекции — и все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалованья, с игрой в преферанс, безо всякого поползновения бежать в цыганские таборы или куда-нибудь в места более соответствующие нашему времени. Много, много что полиберальничают «с оттенком европейского социализма», на которому придан некоторый благодушный русский характер, — но ведь это вопрос только времени. Что в том, что один еще и не начинал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и об нее крепко стукнулся лбом. Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом. Да пусть и не всех ожидает это: довольно лишь «Избранных», довольно лишь десятой доли забеспокоившихся, чтоб и остальному огромному большинству не видать чрез них покоя. Алеко, конечно, еще не умеет правильно выказать тоски своей... Фантастический и нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь преимущественно от явлений внешних; да так и быть должно: «правда, дескать, где-то вне его, может быть где-то в других землях, европейских, например, с их твердым историческим строем, с их установившеюся общественною и гражданскою жизнью». И никогда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого, да и как понять ему это: он ведь в своей земле сам не свой, он уже целым веком отучен от труда, не имеет культуры, рос как институтка в закрытых стенах, обязанности исполнял странные и безотчетные по мере принадлежности к тому или другому из четырнадцати классов, на которые разделено образованное русское общество. Он пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка... И это он чувствует и этим страдает, а часто так мучительно! Ну и что же в том, что, принадлежа, может быть, к родовому дворянству и даже весьма вероятно обладая крепостными людьми, он позволил себе, по вольности своего дворянства, маленькую фантазийку прельститься людьми, живущими «без закона», и на время стал в цыганском таборе водить и показывать мишку? Понятно, женщина, «дикая женщина», по выражению одного поэта, всего скорее могла подать ему надежду на исход тоски его, и он с легкомысленною, но страстною верой бросается к Земфире: «Вот, дескать, где исход мой, вот где может быть мое счастье, здесь, на лоне

природы, далеко от света, здесь, у людей, у которых нет цивилизации и законов!» И что же оказывается: при первом столкновении своем с условиями этой дикой природы он не выдерживает и обгагрывает свои руки кровью. Не только для мировой гармонии, но даже и для цыган не пригодился несчастный мечтатель, и они выгоняют его — без отмщения, без злобы, величаво и простодушно:

Оставь нас, гордый человек;
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним.

Все это, конечно, фантастично, но «гордый-то человек» реален и метко схвачен. В первый раз схвачен он у нас Пушкиным, и это надо запомнить. Именно, именно чуть что не по нем, и он злобно растерзает и казнит за свою обиду, или, что даже удобнее, вспомнив о принадлежности своей к одному из четырнадцати классов, сам возопиет, может быть (ибо случалось и это), к закону терзающему и казнящему, и призывает его, только бы отмщена была личная обида его. Нет, эта гениальная поэма не подражание! Тут же подсказывается русское решение вопроса, «проклятого вопроса», по народной вере и правде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек; прежде всего потрудись на родной ниве», вот это решение по народной правде и народному разуму. «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить». Это решение вопроса в поэме Пушкина уже сильно подсказано. Еще яснее выражено оно в «Евгении Онегине», поэме уже не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такою законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и после его, пожалуй.

Онегин приезжает из Петербурга, — непременно из Петербурга, это несомненно необходимо было в поэме, и Пушкин не мог упустить такой крупной реальной черты в биографии своего героя. Повторяю опять, это тот же Алеко, особенно потом, когда он восклицает в тоске:

Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?

Но теперь, в начале поэмы, он пока еще наполовину фат и светский человек, и слишком еще мало жил, чтоб успеть вполне разочароваться в жизни. Но и его уже начинает посещать и беспокоить

Бес благородный скуки тайной.

В глуши, в сердце своей родины, он, конечно, не у себя, он не дома. Он не знает, что ему тут делать, и чувствует себя как бы у себя же в гостях. Впоследствии, когда он скитается в тоске по родной земле и по землям иностранным, он, как человек бесспорно умный и бесспорно искренний, еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим. Правда, и он любит родную землю, но ей не доверяет. Конечно, слышал и об родных идеалах, но им не верит. Верит лишь в полную невозможность какой-бы то ни было работы на родной ниве, а на верующих в эту возможность, — и тогда, как и теперь, немногих — смотрит с грустною насмешкой. Ленского он убил просто от хандры, почем знать, может быть от хандры по мировому идеалу, — это слишком по-нашему, это вероятно. Не такова Татьяна: это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы. Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она главная героиня поэмы. Это положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты... ..Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей литературе — кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева. Но манера глядеть свысока сделала то, что Онегин совсем даже не узнал Татьяну, когда встретил ее в первый раз, в глуши, в скромном образе чистой, невинной девушки, так оробевшей перед ним с первого разу. Он не сумел отличить в бедной девочке законченности и совершенства и действительно, может быть, принял ее за «нравственный эмбрион». Это она-то эмбрион, это после письма-то ее к Онегину! Если есть кто нравственный эмбрион в поэме, так это, конечно, он сам, Онегин, и это бесспорно. Да и совсем не мог он узнать ее: разве он знает душу человеческую? Это отвлеченный человек, это беспокойный мечтатель во всю его жизнь. Не узнал он ее и потом в Петербурге, в образе знатной дамы, когда, по его же словам, в письме к Татьяне, «постигал душой все ее совершенства». Но это только слова: она прошла в его жизни

мимо него не узнанная и не оцененная им; в том и трагедия их романа. О, если бы тогда, в деревне, при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд-Гарольд или даже, как-нибудь, сам лорд Байрон и, заметив ее робкую, скромную прелесть, указал бы ему на нее, — о, Онегин тотчас же был бы поражен и удивлен, ибо в этих мировых страданиях так много подчас лакейства духовного! Но этого не случилось, и искатель мировой гармонии, прочтя ей проповедь и поступив все-таки очень честно, отправился с мировую тоскою своею и с пролитой в глупенькой злости кровью на руках своих скитаться по родине, не применяя ее, и, кипя здорвьем и силою, восклицать с проклятиями:

Я молод, жизнь во мне крепка,
Чего мне ждать, тоска, тоска!

Это поняла Татьяна. В бессмертных строфах романа поэт изобразил ее посетившею дом этого столь чудного и загадочного еще для нее человека. Я уже не говорю о художественности, недостижимой красоте и глубине этих строф. Вот она в его кабинете, она разглядывает его книги, вещи, предметы, старается угадать по ним душу его, разгадать свою загадку, и «нравственный эмбрион» останавливается, наконец, в раздумье, со странною улыбкой, с предчувствием разрешения загадки, и губы ее тихо шепчут:

Уж не пародия ли он?

Да, она должна была прошептать это, она разгадала. В Петербурге, потом, спустя долго, при новой встрече их, она уже совершенно его знает. Кстати, кто сказал, что светская, придворная жизнь тлетворно коснулась ее души и что именно сан светской дамы и новые светские понятия были отчасти причиной отказа ее Онегину? Нет, это не так было. Нет, это та же Таня, та же прежняя деревенская Таня! Она не испорчена, она, напротив, удручена этою пышною петербургскою жизнью, надломлена и страдает; она ненавидит свой сан светской дамы, и кто судит о ней иначе, тот совсем не понимает того, что хотел сказать Пушкин. И вот она твердо говорит Онегину:

Но я другому отдана
И буду век ему верна.

Высказала она это именно как русская женщина, в этом ее апофеоза. Она высказывает правду поэмы. О, я ни слова не скажу про ее религиозные убеждения, про взгляд на таинство брака — нет, этого я не коснусь. Но что же: потому ли она отказалась идти за ним, несмотря на то, что сама же сказала ему: «Я вас люблю», потому ли, что она, «как русская женщина» (а не южная или не французская какая-ни-

будь), не способна на смелый шаг, не в силах порвать свои путы, не в силах пожертвовать обаянием почестей, богатства, светского своего значения, условиями добродетели? Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит, и она доказала это. Но она «другому отдана и будет век ему верна». Кому же, чему же верна? Каким это обязанностям? Этому-то старику генералу, которого она не может же любить, потому что любит Онегина, и за которого вышла потому только, что ее «с слезами заклинаний молила мать», а в обиженной, израненной душе ее было тогда лишь отчаяние и никакой надежды, никакого просвета? Да, верна этому генералу, ее мужу, честному человеку, ее любящему, ее уважающему и ею гордящемуся. Пусть ее «молила мать», но ведь она, а не кто другая, дала согласие, она ведь, она сама поклялась ему быть честною женой его. Пусть она вышла за него с отчаяния, но теперь он ее муж, измена ее покроет его позором, стыдом и убьет его. А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Ей бежать из-за того только, что тут мое счастье? Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье? Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить, и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых выстроили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастье, остаться навеки счастливыми? Скажите, могла ли решить иначе Татьяна, с ее высокою душой, с ее сердцем, столько пострадавшим? Нет: чистая русская душа решает вот как: «Пусть, пусть я одна лишусь счастья, пусть мое несчастье безмерно сильнее, чем несчастье этого старика, пусть, наконец, никто и ни-

когда, и этот старик тоже, не узнают моей жертвы и не оценят ее, но не хочу быть счастливою, загубив другого!» Тут трагедия, она и совершается, и перейти предела нельзя, уже поздно, и вот Татьяна отсылает Онегина. Скажут: да ведь несчастен же и Онегин: одного спасла, а другого погубила! Позвольте, тут другой вопрос, и даже, может быть, самый важный в поэме. Кстати, вопрос: почему Татьяна не пошла с Онегиным, имеет у нас, по крайней мере в литературе нашей, своего рода историю весьма характерную, а потому я и позволил себе так об этом вопросе распространиться. И всего характернее, что нравственное разрешение этого вопроса столь долго подвергалось у нас сомнению. Я вот как думаю: если бы Татьяна даже стала свободною, если б умер ее старый муж и она овдовела, то и тогда бы не пошла за Онегиным. Надобно же понимать всю суть этого характера? Ведь она же видит, кто он такой: вечный скиталец увидал вдруг женщину, которою прежде пренебрег, в новой блестящей недосыгаемой обстановке, — да ведь в этой обстановке-то, пожалуй, и вся суть дела. Ведь этой девочке, которую он чуть не презирал, теперь поклоняется свет — свет, этот страшный авторитет для Онегина, несмотря на все его мировые стремления, — вот ведь, вот почему он бросается к ней ослепленный! Вот мой идеал, восклицает он, вот мое спасение, вот исход тоски моей, я проглядел его, а «счастье было так возможно, так близко!» И как прежде Алеко к Земфире, так и он устремляется к Татьяне, ища в новой причудливой фантазии всех своих разрешений. Да разве этого не видит в нем Татьяна, да разве она не разглядела его уже давно? Ведь она твердо знает, что он в сущности любит только свою новую фантазию, а не ее, смиренную, как и прежде, Татьяну! Она знает, что он принимает ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже он и любит, что, может быть, он и никого не любит, да и не способен даже когда-нибудь любить, несмотря на то, что так мучительно страдает! Любит фантазию, да ведь он и сам фантазия! Ведь если она пойдет за ним, то он завтра же разочаруется и взглянет на свое увлечение насмешливо. У него никакой почвы, это былинка, носимая ветром. Не такова она вовсе: у ней и в отчаянии и в страдальческом сознании, что погибла ее жизнь, все-таки есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается ее душа. Это ее воспоминания детства, воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась ее смиренная, чистая жизнь, — это «крест и тень ветвей над могилой ее бедной няни». О, эти воспоминания и прежние образы ей теперь всего драгоценнее, эти образы одни только и остались ей, но они-то и спасают ее душу от окончательного отчаяния. И этого не мало, нет,

тут уже многое, потому что тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое. Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею. А у него что есть, и кто он такой? Не идти же ей за ним из сострадания, чтобы только потешить его, чтобы хоть на время из бесконечной любовной жалости подарить ему призрак счастья, твердо зная наперед, что он завтра же посмотрит на это счастье свое насмешливо. Нет, есть глубокие и твердые души, которые не могут сознательно отдать святыню свою на позор, хотя бы и из бесконечного сострадания. Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным.

Итак, в «Онегине», в этой бессмертной и недостижимой поэме своей, Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто. Он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути, нашего верхнего над народом стоящего общества. Отметив тип русского скитальца, скитальца до наших дней и в наши дни, первый угадав его гениальным чутьем своим, с исторической судьбой его и с огромным значением его и в нашей грядущей судьбе, рядом с ним поставив тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины, Пушкин, и, конечно, тоже первый из писателей русских, провел пред нами в других произведениях этого периода своей деятельности целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в правде, правде бесспорной и осязательной, так что отрицать их уже нельзя, они стоят, как изваянные. Еще раз напомним: говорю не как литературный критик, а потому и не стану разъяснять мысль мою особенно подробным литературным обсуждением этих гениальных произведений нашего поэта. О типе русского инока-летописца, например, можно было бы написать целую книгу... Тип этот дан, есть, его нельзя оспорить, сказать, что он выдумка, что он только фантазия и идеализация поэта. Вы созерцаете сами и соглашаетесь: да, это есть; стало быть и дух народа, его создавший, есть, стало быть и жизненная сила этого духа есть, и она велика и необъятна. Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, в его духовную мощь, а коль вера, стало быть, и надежда, великая надежда за русского человека.

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни, —

сказал сам поэт по другому поводу, но эти слова его можно прямо применить ко всей его национальной творческой деятельности. И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин. О, у нас есть много знатоков народа нашего между писателями, и так талантливо, так метко

и так любовно писавших о народе, а между тем, если сравнить их с Пушкиным, то, право же, до сих пор, за одним, много что за двумя исключениями из самых позднейших последователей его, это лишь «господа», о народе пишущие. У самых талантливых из них, даже вот у этих двух исключений, о которых я сейчас упомянул, нет-нет и промелькнет вдруг нечто высокомерное, нечто из другого быта и мира, нечто желающее поднять народ до себя и осчастливить его этим поднятием. В Пушкине же есть именно что-то сроднившееся с народом взаправду, доходящее в нем почти до какого-то простодушнейшего умиления.

...Все эти сокровища искусства и художественного прозрения оставлены нашим великим поэтом как бы в виде указания для будущих, грядущих за ним художников, для будущих работников на этой же ниве. Положительно можно сказать: не было бы Пушкина, не было бы и следовавших за ним талантов. По крайней мере не проявились бы они в такой силе и с такой ясностью, несмотря даже на великое их дарование, в какой удалось им выразиться впоследствии, уже в наши дни. Но не в поэзии лишь одной дело, не в художественном лишь творчестве: не было бы Пушкина, не определились бы, может быть, с такою непоколебимою силой (в какой это явилось потом, хотя все еще не у всех, а у очень лишь немногих) наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов. Этот подвиг Пушкина особенно выясняется, если вникнуть в то, что я называю третьим периодом его художественной деятельности.

Еще и еще раз повторю: эти периоды не имеют таких твердых границ. Некоторые из произведений даже этого третьего периода могли, например, явиться в самом начале поэтической деятельности нашего поэта, ибо Пушкин был всегда цельным, целокупным, так сказать, организмом, носившим в себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне. Внешность только будила в нем то, что было уже заключено во глубине души его. Но организм этот развивался, и периоды этого развития действительно можно обозначить и отметить, в каждом из них, его особый характер и постепенность вырождения одного периода из другого. Таким образом, к третьему периоду можно отнести тот разряд его произведений, в которых преимущественно засияли идеи всемирные, отразились поэтические образы других народов и воплотились их гении. Некоторые из этих произведений явились уже после смерти Пушкина. И в этот-то период своей деятельности наш поэт представляет собою нечто почти даже

чудесное, не слыханное и не виданное до него нигде и ни у кого. В самом деле, в европейских литературах были громадные величины художественные гении — Шекспир, Сервантес, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такой способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт. Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого, соседнего, может быть, с ними народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин. Напротив, обращаясь к чужим народностям, европейские поэты чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему. Даже у Шекспира его италиянцы, например, почти сплошь те же англичане. Пушкин лишь один из всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. Вот сцены из «Фауста», вот «Скупой рыцарь» и баллада «Жил на свете рыцарь бедный». Перечтите «Дон-Жуана», и если бы не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали, что это написал не испанец. Какие глубокие, фантастические образы в поэме «Пир во время чумы»! Но в этих фантастических образах слышен гений Англии; эта чудесная песня о чуме героя поэмы, эта песня Мери со стихами:

Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса, —

это английские песни, это тоска британского гения, его плач, его страдальческое предчувствие своего грядущего... ..религиозные же строфы из корана или «Подражания корану»: разве тут не мусульманин, разве это не самый дух корана и меч его, простодушная величавость веры и грозная кровавая сила ее? А вот и древний мир, вот «Египетские ночи», вот эти земные боги, севшие над народом своими богами, уже презирующие гений народный и стремления его, уже не верящие в него более, ставшие впрямь уединенными богами и обезумевшие в отъединении своем, в бессмертной скуке своей и тоске тешащие себя фантастическими зверствами, сладострастием насекомых, сладострастием пауковой самки, съедающей своего самца. Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у

Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, тающегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк.

В самом деле, что такое для нас петровская реформа, и не в будущем только, а даже и в том, что уже было, произошло, явилось воочию? Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Вникнем, как дело было, поглядим пристальнее. Да, очень может быть, что Петр первоначально только в этом смысле и начал производить ее, то есть в смысле ближайше утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи, Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм, — ощутив эту цель опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но, однако же, и непосредственно и вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полною любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и склонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему человеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразуме-

ние, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретённая, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал. Этому надлежало быть высказанным, но особенно теперь, в минуту чествования нашего великого гения, эту именно идею в художественной силе своей воплощавшего. Да и высказывалась уже эта мысль не раз, я ничуть не новое говорю. Главное, все это покажется самонадеянным: «это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово?» Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя Христос». Почему же нам не вместить последнего слова его? Да и сам он не в яслях ли родился? Повторяю: по крайней мере мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил

эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть по крайней мере на чем этой фантазии основаться. Если бы жил он дольше, может быть явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.

1880 г.

Д. С. Мережковский

Памяти Тургенева

1 Сегодня десять лет со дня смерти Тургенева. Десять лет!.. Какая маленькая волна в том бесконечном приливе и отливе, которые мы называем временем!

А между тем сколько памятников, воздвигнутых, казалось, для вечности, успело рушиться, сколько побед отзвучало, сколько торжественных венков облетело!

Да, у Времени есть своя насмешливость — и очень справедливая. Ничтожное делается еще более ничтожным, только великое во времени растет.

Так с каждым годом растет образ Тургенева, становится все выше и выше, светлее и светлее.

2 Посмотрите на портрет Тургенева. Вот лицо коренного русского человека. Глаза с тонким умом и нежною, русскою печалью, добрые, мудрые и грустные морщины, — это лицо старого русского крестьянина, только облагороженное и утонченное высокою культурой. Тургенев был и по своему духу коренной русский человек. Разве с безукоризненным совершенством, доступным кроме него, может быть, одному только Пушкину, он не владел гением русского языка? Разве смех его не самобытный, неподражаемый, народный смех? Разве он не знал всех наших глубоко скрытых недостатков и не любил и не понимал той русской красоты, которая доступна только людям, связанным с народом плотью и кровью, сердцем и духом?

А между тем этот коренной русский человек — величайший западник. Тургенев любил Запад и его великую многовековую культуру не холодной теоретической любовью, а всем существом своим, с ревнивой и пламенной страстностью. Он так умеет преклоняться перед каждым прекрасным и могучим явлением всемирно-исторического духа, как немногие русские писатели, и в этом отношении он остается верным завету другого великого и не менее коренного русского человека — Пушкина. Тургенев — этот «славянский гигант», как называл его Флобер, понявший и оценивший в нем глубокую, неподражаемую народную самобытность, — Тургенев — истинный европеец, одно из самых крепких и драгоценных звеньев той великой цепи, которая связывает нас, русских, с жизнью человечества. Он один из первых открыл удивленному Западу всю прелесть и силу русского духа.

Противоположность, которая составляет доньше неразрешенный, трагический узел нашей истории, противоположность западной культуры и русской самобытности превращается в его душе в гармонию, в стройное и неразрывное сочетание.

Тургенев — эстетик. Он ненавидит грубо-утилитарную теорию в искусстве. Он верит в красоту, верит и исповедует ее перед самыми ожесточенными врагами и хулителями. Он не стыдится, как многие русские писатели. Вселенная представляется ему прежде всего бесконечною красотой. За это исповедание, за эту искренность слишком смелого и независимого художника он потерпел немало жестоких гонений. Но десять лет прошло со дня его смерти, и что осталось от этих гонений, что осталось от его врагов? «Самодовольный, бесстрастный эпикуреец», «эстетик», поклонник чистого искусства имеет право на сердечную благодарность русского народа. Недаром Тургенев участвовал одним из своих лучших созданий в неизгладимо-прекрасном и плодотворном подвиге, совершенном интеллигенцией во имя народа, — в освобождении крестьян. Красота не мешала ему любить народ и делать благо. Он любил народ, прежде всего, потому, что сам вышел из глубины народного духа; он любил народ, как природу, как таинственную и грозную стихию, как великую и могучую красоту. И вот почему он питал такое непреодолимое отвращение к крепостному праву. Он ненавидел всякое рабство, как величайшее человеческое безобразие, как самое постыдное уродство; он ненавидел рабство и как художник, как эстетик...

В Тургеневе была еще третья великая противоположность веры и знания. Ум его неумолимо-скептический. Поэт не закрывает глаза, не останавливается ни перед одним из самых безнадежных выводов современ-

ного знания. Он не возмущается против «научной науки» подобно Л. Толстому; не ищет от нее успокоения в мистицизме прошлых веков, подобно Достоевскому, в красоте законченных форм жизни, подобно Гончарову. Разлагающий разум его проникает в страшную сущность мира. А между тем сердце поэта, несмотря на все доводы разума, неутомимо жаждет чудесного и божественного. Мир — по выражению Ренана — представляется ему — гигантским, многогранным и многоцветным алмазом, повешенным над бездной в черном вечном мраке. Тургенев не может забыть и не видеть этого мрака. Никто из поэтов с таким ужасом и возмущением не думал о смерти.

И вот сегодня исполнилось десять лет с того дня, как вечный мрак поглотил его, десять лет, как перестало биться это великое сердце, так любившее красоту мира и так ненавидевшее смерть.

Смерть совершила и над ним свое грозное дело. Теперь он знает разгадку тайны, перед которой мысль его остановилась с таким тяжелым и пытливым недоумением. Но где же тление? Где же прах? Где ужас смерти?

В эту годовщину мы празднуем еще одну победу человеческого духа над смертью и временем. Это — первые десять лет бессмертия Тургенева.

Разве он умер? Разве он не живой среди нас? Разве он нам не более друг, чем наши друзья? Разве он нам не более родной, чем наши родные?

Его вечно юные, благоуханные вымыслы действительно, правдивее, чем тот лживый и недобрый сон, который мы называем современной действительностью.

Наше сердце бьется каждым трепетом его сердца, мы любим его любовью, мы плачем его слезами, мы живем его жизнью. Где же смерть?

Он вечно будет творить в живой душе людей чудо красоты, чудо бессмертия! Он будет заставлять самых недоверчивых людей верить в невозможное, в чудесное, в недоступно-прекрасное, в то, чего нет и что в некотором смысле более действительно, чем все, что есть! Воистину этот мертвец более живой, чем тысячи и тысячи людей, проходящих по земле, как тени, которые только кажутся живыми!

«Театральная газета», 1893.
№ 8, СПб, 22 августа.

Оксфордская речь (фрагменты)

У нашей соседки, вдовы моряка, улетел любимый попугай. Думали, что его сцапала кошка. Но я нашел его на чердаке невредимым. Соседка обрадовалась и дала мне в награду серебряный рубль да какие-то зеленые английские книжки — четырехтомное сочинение какого-то Джемса Бозвелла, эскайра, под неинтересным заглавием: «Жизнь Сэмюэля Джонсона».

Это было в Одессе — еще в прошлом столетии. Мне шел тогда семнадцатый год. Я был тощий, растрепанный, нелепый подросток. Назло учителям, выгнавшим меня из 5-го класса гимназии, я всю осень и зиму зубрил английские слова по самоучителю Оллендорфа, лелея обычную мечту тогдашних неудачников: убежать куда-нибудь в Австралию.

Придя домой, в свою конуру возле кухни, я стал перелистывать зеленые книги, с трудом разбирая в них отдельные фразы и поминутно заглядывая в англо-русский словарь Александрова. Вначале это было канителью и тяжело, но уже через несколько дней книга поглотила меня всего с головой. Я и сейчас не могу догадаться, каким чародейным искусством этот Джемс Бозвелл, эскайр, о котором я никогда ничего не слыхал, приворожил меня к своему неотесанному, грубоватому Джонсону и заставил меня привязаться к нему всем моим мальчишеским сердцем. С каждой страницей я все сильнее влюблялся в этот цельный, упрямый и гордый характер, в этот громадный, хотя и затуманенный предрассудками, ум, к которому так отлично подходят английские эпитеты *robust* и *vigorous*.

Закончив первую книгу о нем, я сейчас же взялся за вторую и к Рождеству одолел все четыре.

С того времени прошло шестьдесят лет, даже больше! Я пережил четыре войны. Но до сих пор каким-то чудом на полке у меня уцелели четыре зеленые книги, по которым я, одинокий подросток, учился без учителей и учебников любить литературу англичан.

Нельзя было и придумать лучшего учебника, чем «Бозвелл», так как это — в высшей степени английская книга. Литература Англии, как я убедился потом, очень богата большими и малыми Бозвеллами. Бозвеллировать — ее специальность, вызванная страстным интересом английских читателей к характерам, судьбам, делам и причудам всякой сколько-нибудь выдающейся личности. Эти читатели как бы сказали

себе: для человека нет ничего интереснее, чем другой человек во всех мельчайших подробностях его бытия. Оттого-то в английской литературе так много замечательных мемуаров о замечательных людях, всяких биографий, автобиографий, дневников и т. д. <...>

Этих книг я прочитал за свою долгую жизнь немало (забуду ли чудесную книгу Грэнта Ричардса «Хаусман?»), благодаря этим книгам по-новому оценил и прочувствовал наши русские книги, например, воспоминания Ивана Панаева, Павла Анненкова, Павла Ковалевского и др. И воспоминания Горького, вершиной которых представляется мне очерк «Лев Толстой, — такой проникновенный, артистически тонкий. Я не говорю уже о книге «Былое и думы» А. Герцена. Это — монументальная книга могучей изобразительной силы и безоглядной, бестрепетной искренности. Невозможно понять, почему эта книга до настоящего времени не получила широкого признания в Англии.

Страна, которую видишь сквозь ее поэзию и прозу, всегда представляется тебе в ореоле. Для меня Англия была и осталась страной великих писателей. Хорошо понимаю, что это наивно, но здесь уже ничего не поделаешь: видеть Англию исключительно в литературном аспекте и значит для меня видеть ее подлинную суть.

Конечно, я слышал много рассказов о лицемерии британцев, об их пресловутом *cant'e*, об их чопорности, замкнутости и т. д. В газетах мне часто встречалось модное в те времена выражение «коварный Альбион». Очевидно, для этого были все основания и, я верю, достаточно веские, но мне выпала большая удача не сталкиваться с таким Альбионом, не испытывать его коварство и *cant'a*. И хотя из литературы я знал, что в Англии множество Пекснифов, но разве не та же литература явилась оружием анти-фарисеев, анти-Пекснифов, таких, как Годвин, Шелли, Байрон, Диккенс, Теккерей, Рескин, Вильям Морис, Бернард Шоу.

И те английские писатели, которых мне посчастливилось встретить во время своего краткого пребывания в Англии в 1916 году — Эдмунд Госс, Герберт Уэллс, Конан Дойл, Джон Бухан, Морис Беринг, Роберт Росс, — показались мне, при всем их различии, равно далекими от всяких «коварств», простосердечными, с открытой душой, без всякого камня за пазухой, такими же, как русские писатели, с которыми я общался всю жизнь.

Сам понимаю, что это чудачество, но, приехав, например, в Оксфорд и увидев там Бэллиол колледж, я только и вспом-

нил о нем, что это был колледж Суинберна, а увидев Магдален колледж, сказал себе: «Это колледж Оскара Уайльда».

А когда я впервые подошел к речке Айзис — это было в 1962 году, — я не без волнения вспомнил, что ровно сто лет назад жарким летом по этой самой воде проплывала длинная лодка, в которой сидели три девочки, сестры Лиделл, и с ними чинный математик Чарлз Лэтивидж Доджсон, alias Льюис Кэрролл. Несмотря на жару, он, я думаю, так и не снял черного своего сюртука, не расстегнул своего крахмального ворота, но когда стал рассказывать девочкам, слегка заикаясь, сказку «Алиса в стране чудес», стало ясно, сколько веселого сумасбродства, озорства, необузданной детскости может порою таиться под черным сюртуком иного оксфордского «дона».

Конечно, ему и в голову тогда не пришло, что эта непутевая сказка, которую он выдумывал на досуге от нечего делать, затмит его ученые труды и доставит ему вечную славу на пяти континентах.

Где эта лодка? Где маленькие сестры Лиделл? Где вода, струившаяся среди этих лугов ровно сто лет назад? Где он сам, Льюис Кэрролл? А его сказка живет и живет несмотря ни на что, и вот уже второе столетие радует миллионы детей. Как же не верить, что литература прочнее всего и что нет такой силы, которая могла бы ее уничтожить!

Мне, старику-литератору, служившему литературе всю жизнь, очень хотелось бы верить, что литература важнее и ценнее всего и что она обладает магической властью сближать разьединенных людей и примирять непримиримые народы. Иногда мне чудится, что эта вера — безумие, но бывают минуты, когда я всей душой отдаюсь этой вере. «Разве не утешительно, — говорю я себе в такие минуты, — что за всю многовековую историю русско-британских отношений еще не было другого такого периода, когда Англия проявляла столь жгучий, живой интерес к языку и литературе России, а Россия — к языку и литературе Англии».

Будем же верить, что это к добру, — и давайте, несмотря ни на что, крепить, насколько это зависит от нас, наши дружеские литературные связи.

Хорошо понимаю, что это — банальный призыв, но продиктован он свежим, заново прихлынувшим чувством.

1962 г.

Нобелевская лекция

1

Как тот дикарь, в недоумении подобравший странный выброс ли океана? захоронок песков? или с неба упавший непонятный предмет? — замысловатый в изгибах, отблескивающий то смутно, то ярким ударом луча, — вертит его так и сяк, вертит, ищет, как приспособить к делу, ищет ему доступной низшей службы, никак не догадываясь о высшей.

Так и мы, держа в руках Искусство, самоуверенно почитаем себя хозяевами его, смело его направляем, обновляем, деформируем, манифестируем, продаем за деньги, угождаем сильным, обращаем то для развлечения — до эстрадных песенок и ночного бара, то — затычкою или палкою, как схватишь, — для политических мимобежных нужд, для ограниченных специальных. А искусство — не оскверняется нашими попытками, не теряет на том своего происхождения, всякий раз и во всяком употреблении уделяя нам часть своего тайного внутреннего света.

Но охватим ли весь тот свет? Кто осмелится сказать, что определил Искусство? перечислил все стороны его? А может быть уже и понимал, и называл нам в прошлые века, но мы недолго могли на том застояться: мы послушали, и пренебрегли, и откинули тут же, как всегда спеша сменить хоть и самое лучшее — а только бы на новое! И когда снова нам скажут старое, мы уже и не вспомним, что это у нас было.

Один художник мнит себя творцом независимого духовного мира, и взваливает на свои плечи акт творения этого мира, населения его, объемлющей ответственности за него, — но подламывается, ибо нагрузки такой не способен выдержать смертный гений; как и вообще человек, объявивший себя центром бытия, не сумел создать уравновешенной духовной системы. И если овладевает им неудача, — валят ее на извечную дисгармоничность мира, на сложность современной разорванной души или непонятливость публики.

Другой — знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя еще строже его ответственность за все написанное, нарисованное, за воспринимающие души. Зато: не им этот мир создан, не им управляется, нет сомненья в его основах, художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразия человеческого вклада в него — и остро передать это людям. И в неудачах и даже на дне существования — в ни-

щите, в тюрьме, в болезнях — ощущение устойчивой гармонии не может покинуть его.

Однако вся иррациональность искусства, его ослепительные извивы, непредсказуемые находки, его сотрясающее воздействие на людей, — слишком волшебны, чтоб исчерпать их мировоззрением художника, замыслом его или работой его недостойных пальцев.

Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не было у нас искусства. Еще в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, которых не успели разглядеть. И не успели спросить: зачем нам этот дар? как обращаться с ним?

И ошиблись, и ошибутся все предсказатели, что искусство разложится, изживет свои формы, умрет. Умрем — мы, а оно — останется. И еще пойдем ли мы до нашей гибели все стороны и все назначения его?

Не все — называется. Иное влечет дальше слов. Искусство растекает даже захлавленную, затемненную душу к высокому духовному опыту. Посредством искусства иногда посылаются нам, смутно, коротко, — такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению.

Как то маленькое зеркальце сказок: в него глянешь и увидишь — не себя, — увидишь на миг Недоступное, куда не доскакать, не долететь. И только душа занывает...

2

Достоевский загадочно обронил однажды: «Мир спасет красота». Что это? Мне долго казалось — просто фраза. Как бы это возможно? Когда в кровожадной истории, кого и от чего спасала красота? Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла?

Однако есть такая особенность в сути красоты, особенность в положении искусства: убедительность истинно художественного произведения совершенно неопровержима и подчиняет себе даже противящееся сердце. Политическую речь, напористую публицистику, программу социальной жизни, философскую систему можно по видимости построить гладко, стройно и на ошибке, и на лжи; и что скрыто и что искажено — увидится не сразу. А выйдет на спор противонаправленная речь, публицистика, программа, иноструктурная философия, — и все опять так же стройно и гладко, и опять сошлось. Оттого доверие к ним есть — и доверия нет.

Попусту твердится, что к сердцу не ложится.

Произведение же художественное свою правоту несет само в себе: концепции придуманные, натянутые не выдержи-

вают испытания на образах: разваливаются и те и другие, оказываются хилы, бледны, никого не убеждают. Произведения же, зачерпнувшие истины и представившие нам ее сгущенно-живой, захватывают нас, приобщают к себе властно, — и никто, никогда, даже через века, не явится их опровергать.

Так может быть это старое триединство Истины, Добра и Красоты — не просто парадная обветшалая формула, как казалось нам в пору нашей самонадеянной материалистической юности? Если вершины этих трех деревьев сходятся, как утверждали исследователи, но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, — то может быть причудливые, непредсказуемые, неожиданные поросли Красоты пробьются и взвоятся в то же самое место, и так выполнят работу за всех трех?

И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Достоевского: «Мир спасет красота»? Ведь ему дано было многое видеть, озаряло его удивительно.

И тогда искусство, литература могут на деле помочь сегодняшнему миру?

То немногое, что удалось мне с годами в этой задаче разглядеть, я и попытаюсь изложить сегодня здесь.

3

На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трем-четырем примощенным ступенькам, но по сотням или даже тысячам их — неуступным, обрывистым, обмерзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие — может быть с большим даром, сильнее меня — погибли. Из них лишь некоторых встречал я сам на Архипелаге ГУЛАГе, рассыпанном на дробное множество островов, да под жерновом слежки и недоверия не со всяким разговорился, об иных только слышал, о третьих только догадывался. Те, кто канул в ту пропасть уже с литературным именем, хотя бы известны, — но сколько не узанных, ни разу публично не названных! и почти-почти никому не удалось вернуться. Целая национальная литература осталась там, погребенная не только без гроба, но даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги. Ни на миг не прерывалась русская литература! — а со стороны казалась пустынею. Где мог бы расти дружный лес, осталось после всех лесоповалов два-три случайно обойденных дерева.

И мне сегодня, сопровождаемому тенями павших, и со склоненной головой пропуская вперед себя на это место дру-

гих, достойных ранее, мне сегодня — как угадать и выразить, что хотели бы сказать они?

Эта обязанность давно тяготела на нас, и мы ее понимали. Словами Владимира Соловьева:

Но и в цепях должны свершить мы сами
Тот круг, что боги очертили нам.

В томительных лагерных переброях, в колонне заключенных, во мгле вечерних морозов с просвечивающими цепочками фонарей — не раз подступало нам в горло, что хотелось бы выкрикнуть на целый мир, если бы мир мог услышать кого-нибудь из нас. Тогда казалось это очень ясно: что скажет наш удачливый посланец — и как сразу отзывно откликнется мир. Отчетливо был наполнен наш кругозор и телесными предметами и душевными движениями, и в недвоящемся мире им не виделось перевеса. Те мысли пришли не из книг и не заимствованы для складности: в тюремных камерах и у лесных костров они сложились в разговорах с людьми, теперь умершими, тою жизнью проверены, оттуда выросли.

Когда же послабилось внешнее давление — расширился мой и наш кругозор, и постепенно, хотя бы в щелочку, увиделся и узнался тот «весь мир». И поразительно для нас оказался «весь мир» совсем не таким, как мы ожидали, как мы надеялись: «не тем» живущий, «не туда» идущий, на болотную топь восклицающий: «Что за очаровательная лужайка!» — на бетонные шейные колодки: «Какое утонченное ожерелье!» — а где катятся у одних неотирные слезы, там другие приплясывают беспечному мюзикалу.

Как же это случилось? Отчего же зинула эта пропасть? Бесчувственны были мы? Бесчувствен ли мир? Или это — от разницы языков? Отчего не всякую внятную речь люди способны расслышать друг от друга? Слова отзвучивают и утекают как вода — без вкуса, без цвета, без запаха. Без следа.

По мере того, как я это понимал, менялся и менялся с годами состав, смысл и тон моей возможной речи. Моей сегодняшней речи.

И уже мало она похожа на ту, первоначально задуманную в морозные лагерные вечера.

4

Человек извечно устроен так, что его мировоззрение, когда оно не внушено гипнозом, его мотивировки и шкала оценок, его действия и намерения определяются его личным и групповым жизненным опытом. Как говорит русская пословица: «Не верь брату родному, верь своему глазу кривому». И это — самая здоровая основа для понимания окружающе-

го и поведения в нем. И долгие века, пока наш мир был глухо, загадочно раскинут, пока не пронизался он едиными линиями связи, не обратился в единый судорожно бьющийся ком, — люди безошибочно руководились своим жизненным опытом в своей ограниченной местности, в своей общине, в своем обществе, наконец, и на своей национальной территории. Тогда была возможность отдельным человеческим глазам видеть и принимать некую общую шкалу оценок: что признается средним, что невероятным; что жестоким, что за гранью злодейства; что честностью, что обманом. И хотя очень по-разному жили разбросанные народы, и шкалы их общественных оценок могли разительно не совпадать, как не совпадали их системы мер, эти расхождения удивляли только редких путешественников, да попадали диковинками в журналы, не неся никакой опасности человечеству, еще не единому.

Но вот за последние десятилетия человечество незаметно, внезапно стало единым — обнадежно единым и опасно единым, так что сотрясения и воспаления одной его части почти мгновенно передаются другим, иногда не имеющим к тому никакого иммунитета. Человечество стало единым, — но не так, как прежде бывали устойчиво едиными община или даже нация: не через постепенный жизненный опыт, не через собственный глаз, добродушно названный кривым, даже не через родной понятный язык, — а, поверх всех барьеров, через международное радио и печать. На нас валит накат событий, полмира в одну минуту узнает об их выплеске, но мерок — измерять те события и оценивать по законам неизвестных нам частей мира — не доносят и не могут донести по эфиру и в газетных листах: эти мерки слишком долго и особенно устаивались и усваивались в особой жизни отдельных стран и обществ, они не переносимы на лету. В разных краях к событиям прикладывают собственную, выстраданную шкалу оценок — и неуступчиво, самоуверенно судят только по своей шкале, а не по какой чужой.

И таких разных шкал в мире если не множество, то во всяком случае несколько: шкала для ближних событий и шкала для дальних; шкала старых обществ и шкала молодых, шкала благополучных и неблагополучных. Деления шкал кричаще не совпадают, пестрят, и режут нам глаза, и чтоб не было нам больно, мы отмахиваемся ото всех чужих шкал как от безумия, от заблуждения, — и весь мир уверенно судим по своей домашней шкале. Оттого кажется нам крупней, и невыносимей то, что ближе к нам. Все же дальше, не грозящее прямо сегодня докатиться до порога нашего дома, признается нами, со всеми его стонами, задушенными крика-

ми, погубленными жизнями, хотя б и миллионами жертв, — в общем вполне терпимым и сносных размеров.

В одной стороне под гоненьями, не уступающими древнеримским, не так давно отдали жизнь за веру в Бога сотни тысяч беззвучных христиан. В другом полушарии некий безумец (и наверно он не одинок) мчится через океан, чтоб уда- ром стали в первосвященника освободить нас от религии! По своей шкале он так рассчитал за всех нас!

То, что по одной шкале представляется издали завидной благоденственной свободой, то по другой шкале вблизи ощущается досадным принуждением, зовущим к переворачиванию автобусов. То, что в одном краю мечталось бы как неправдоподобное благополучие, то в другом краю возмущает как дикая эксплуатация, требующая немедленной забастовки. Разные шкалы для стихийных бедствий: наводнение в двести тысяч жертв кажется мельче нашего городского случая. Разные шкалы для оскорбления личности; где унижает даже ироническая улыбка и отстраняющее движение, где и жестокие побои простительны как неудачная шутка. Разные шкалы для наказаний, для злодеяний. По одной шкале месячный арест, или ссылка в деревню, или «карцер», где кормят белыми булочками да молоком, — потрясают воображение, заливают газетные полосы гневом. А по другой шкале привычны и прощены — и тюремные сроки по двадцать пять лет, и карцеры, где на стенах лед, но раздевают до белья, и сумасшедшие дома для здоровых, и пограничные расстрелы бесчисленных неразумных, все почему-то куда-то бегущих людей. А особенно спокойно сердце за тот экзотический край, о котором и вовсе ничего не известно, откуда и события до нас не доходят никакие, а только поздние плоские догадки малочисленных корреспондентов.

И за это двоенье, за это остолбенелое непониманье чужого дальнего горя нельзя упрекать человеческое зрение: уж так устроен человек. Но для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое взаимное непонимание грозит близкой и бурной гибелью. При шести, четырех, даже при двух шкалах не может быть единого мира, единого человечества: нас разорвет эта разница ритма, разница колебаний. Мы не уживем на одной Земле, как не жилец человек с двумя сердцами.

5

Но кто же и как совместит эти шкалы? Кто создаст человечеству единую систему отсчета — для злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого, как они разграничиваются сегодня? Кто прояснит человечеству, что действительно

тяжко и невыносимо, а что только поблизости натирает нам кожу, — и направит гнев к тому, что страшней, а не к тому, что ближе? Кто сумел бы перенести такое понимание через рубеж собственного человеческого опыта? Кто сумел бы косному упрямому человеческому существу внушить чужие дальние горе и радость, понимание масштабов и заблуждений, никогда не пережитых им самим? Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это — искусство. Это — литература.

Доступно им такое чудо: преодолеть ущербную особенность человека учиться только на собственном опыте, так что втуне ему проходит опыт других. От человека к человеку, восполняя его куце земное время, искусство переносит целиком груз чужого долгого жизненного опыта со всеми его тяготами, красками, соками, во плоти воссоздает опыт, пережитый другими, — дает усвоить как собственный.

И даже больше, гораздо больше того, и страны, и целые континенты повторяют ошибки друг друга с опозданием, бывает и на века, когда, кажется, так все наглядно видно! а нет: то, что одними народами уже пережито, обдуманно и отвергнуто, вдруг обнаруживается другими как самое новейшее слово. И здесь тоже: единственный заменитель не пережитого нами опыта — искусство, литература. Дана им чудесная способность: через различия языков, обычаев, общественного уклада переносить жизненный опыт от целой нации к целой нации — никогда не пережитый этой второю трудный многодесятилетний национальный опыт, в счастливом случае оберегая целую нацию от избыточного, или ошибочного, или даже губительного пути, тем сокращая извилины человеческой истории.

Об этом великом благословенном свойстве искусства я настойчиво напоминаю сегодня с нобелевской трибуны.

И еще в одном бесценном направлении переносит литература неопровержимый сгущенный опыт: от поколения к поколению. Так она становится живой памятью наций. Так она теплит в себе и хранит утраченную историю — в виде, не поддающемся искажению и оболганию. Тем самым литература вместе с языком сберегает национальную душу.

(За последнее время модно говорить о нивелировке наций, об исчезновении народов в котле современной цивилизации. Я не согласен с тем, но обсуждение того — вопрос отдельный, здесь же уместно сказать: исчезновение наций обеднило бы нас не меньше, чем если бы все люди уподобились, в один характер, в одно лицо. Нации — это богатство человечества,

это обобщенные личности его; самая малая из них несет свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла).

Но горе той нации, у которой литература прерывается вместительством силы; это — не просто нарушение «свободы печати», это — замкнутые национального сердца, иссечение национальной памяти. Нация не помнит сама себя, нация лишается духовного единства, — и при общем как будто языке соотечественники вдруг перестают понимать друг друга. Отживают и умирают немые поколения, не рассказавшие о себе ни сами себе, ни потомкам. Если такие мастера, как Ахматова или Замятин, на всю жизнь замурованы заживо, осуждены до гроба творить молча, не слыша отзвука своему написанному, — это не только их личная беда, но горе всей нации, но опасность для всей нации.

А в иных случаях — и для всего человечества: когда от такого молчания перестает пониматься и вся целиком История.

6

В разное время в разных странах горячо, и сердито, и изящно спорили о том, должны ли искусство и художник жить сами для себя или вечно помнить свой долг перед обществом и служить ему, хотя и непредвзято. Для меня здесь нет спора, но я не стану снова поднимать вереницы доводов. Одним из самых блестящих выступлений на эту тему была Нобелевская же лекция Альбера Камю — и к выводам ее я с радостью присоединяюсь. Да русская литература десятилетиями имела этот крен — не заглядываться слишком сама на себя, не порхать слишком беспечно, и я не стыжусь эту традицию продолжать по мере сил. В русской литературе издавна вроднились нам представления, что писатель может многое в своем народе — и должен.

Не будем попираť права художника выражать исключительно собственные переживания и самонаблюдения, пренебрегая всем, что делается в остальном мире. Не будем требовать от художника, — но укорить, но попросить, но позвать и поманить дозволено будет нам. Ведь только отчасти он развивает свое дарование сам, в большей доле оно вдунуто в него от рожденья готовым — и вместе с талантом положена ответственность на его свободную волю. Допустим, художник никому ничего не должен, но больно видеть, как может он, уходя в своесозданные миры или в пространства субъективных капризов, отдавать реальный мир в руки людей корыстных, а то и ничтожных, а то и безумных.

Оказался наш XX век жесточе предыдущих, и первой его

половиной не кончилось все страшное в нем. Те же старые пещерные чувства — жадность, зависть, необузданность, взаимное недоброжелательство, — на ходу принимая приличные псевдонимы вроде классовой, расовой, массовой, профсоюзной борьбы, врут и разрывают наш мир. Пещерное неприятие компромиссов введено в теоретический принцип и считается добродетелью ортодоксальности. Оно требует миллионных жертв в нескончаемых гражданских войнах, оно нагуживает в душу нам, что нет общечеловеческих понятий добра и справедливости, что все они текучи, меняются, а значит всегда должно поступать так, как выгодно твоей партии. Любая профессиональная группа, как только находит удобный момент вырвать кусок, хотя б и не заработанный, хотя б и избыточный, — тут же вырывает его, а там хоть все общество развалилось. Амплитуда швыряний западного общества, как видится со стороны, приближается к тому пределу, за которым система становится нестабильной и должна развалиться. Все меньше стесняясь рамками многовековой законности, нагло и победно шагает по всему миру насилие, не заботясь, что его бесплодность уже много раз проявлена и доказана в истории. Торжествует даже не просто грубая сила, но ее трубное оправдание: заливают мир наглая уверенность, что сила может все, а правда — ничего. Бесы Достоевского — казалось, провинциальная кошмарная фантазия прошлого века, на наших глазах расползаются по всему миру, в такие страны, где и вообразить их не могли, — и вот угонами самолетов, захватами заложников, взрывами и пожарами последних лет сигналият о своей решимости сотрясти и уничтожить цивилизацию! И это вполне может удалиться им. Молодежь — в том возрасте, когда еще нет другого опыта, кроме сексуального, когда за плечами еще нет годов собственных страданий и собственного понимания, — восторженно повторяет наши русские опороченные зады XIX века, а кажется ей, что открывает новое что-то. Новоявленная хунвейбиновская деградация до ничтожества принимается ею за радостный образец. Верхоглядное непонимание извечной человеческой сути, наивная уверенность не поживших сердец: вот этих лютых, жадных притеснителей, правителей прогоним, а следующие (мы!), отложив гранаты и автоматы, будут справедливые и сочувственные. Как бы не так!.. А кто пожил и понимает, кто мог бы этой молодежи возразить, — многие не смеют возражать, даже заискивают, только бы не показаться «консерваторами», — снова явление русское, XIX века, Достоевский называл его «рабством у передовых идей».

Дух Мюнхена — насколько не ушел в прошлое, он не был коротким эпизодом. Я осмелюсь даже сказать, что дух Мюн-

хена преобладает в XX веке. Оробелый цивилизованный мир перед натиском внезапно воротившегося оскаленного варварства не нашел ничего другого противопоставить ему, как уступки и улыбки. Дух Мюнхена есть болезнь воли благополучных людей, он есть повседневное состояние тех, кто отдался жажде благоденствия во что бы то ни стало, материальному благосостоянию, как главной цели земного бытия. Такие люди — а множество их в сегодняшнем мире — избирают пассивность и отступления, лишь дальше потянулась бы привычная жизнь, лишь не сегодня бы перешагнуть в суровость, а завтра, глядишь, обойдется... (Но никогда не обойдется! — расплата за трусость будет только злей. Мужество и одоление приходит к нам, лишь когда мы решаемся на жертвы.)

А еще нам грозит гибелью, что физически сжатою стесненному миру не дают слиться духовно, не дают молекулам знания и сочувствия перескакивать из одной половины в другую. Это лютая опасность: пресечение информации между частями планеты. Современная наука знает, что пресечение есть путь энтропии, всеобщего разрушения. Пресечение информации делает призрачными международные подписи и договоры: внутри оглушенной зоны любой договор ничего не стоит перетолковать, а еще проще — забыть, он как бы и не существовал никогда (это Оруэлл прекрасно понял). Внутри оглушенной зоны живут как бы не жители Земли, а марсианский экспедиционный корпус, они толком ничего не знают об остальной Земле, и готовы пойти топтать ее в святой уверенности, что «освобождают».

Четверть века назад в великих надеждах человечества родилась Организация Объединенных Наций. Увы, в безнравственном мире выросла безнравственной и она. Это не организация Объединенных Наций, но организация Объединенных Правительств, где уравнены и свободно избранные, и насильственно навязанные, и оружием захватившие власть. Корыстным пристрастием большинства ООН ревниво заботится о свободе одних народов и в небрежении оставляет свободу других. Угодливым голосованием она отвергла рассмотрение частных жалоб — стонов, криков и умолений единичных маленьких просто людей, слишком мелких букашек для такой великой организации. Свой лучший за двадцать пять лет документ — Декларацию прав человека — ООН не посилилась сделать обязательным для правительств, условием их членства — и так предала маленьких людей воле не избранных ими правительств.

Казалось бы: облик современного мира весь в руках ученых, все технические шаги человечества решаются ими. Казалось бы: именно от всемирного содружества ученых, а не

от политиков должно зависеть, куда миру идти. Тем более, что пример единиц показывает, как много могли бы они сдвинуть все вместе. Но нет, ученые не явили яркой попытки стать важной самостоятельно действующей силой человечества. Целыми конгрессами отшатаываются они от чужих страданий: уютней остаться в границах науки. Все тот же дух Мюнхена развесил над ними свои расслабляющие крыла.

Каковы ж в этом жестоком, динамичном, взрывном мире, на черте его десяти гибелей — место и роль писателя? Уж мы и вовсе не шлем ракет, не катим даже последней подсобной тележки, мы и вовсе в презренье у тех, кто уважает одну материальную мощь. Не естественно ли нам тоже отступить, разувериться в неколебимости добра, в недробимости правды и лишь поведывать миру свои горькие сторонние наблюдения, как безнадежно исковеркано человечество, как измельчали люди и как трудно средь них одиноким тонким красивым душам?

Но и этого бегства — нет у нас. Однажды взявшись за слово, уже потом никогда не уклониться: писатель — не посторонний судья своим соотечественникам и современникам, он — совиновник во всем зле, совершенном у него на родине или его народом. И если танки его отчества залили кровью асфальт чужой столицы, — то бурые пятна навек зашлепали лицо писателя. И, если в роковую ночь удушили спящего доверчивого Друга, — то на ладонях писателя синяки от той веревки. И если юные его сограждане развязно декларируют превосходство разврата над скромным трудом, отдаются наркотикам или хватают заложников, — то перемешивается это зловоние с дыханием писателя.

Найдем ли мы дерзость заявить, что не ответчики мы за язвы сегодняшнего мира?

7

Однако ободряет меня живое ощущение мировой литературы как единого большого сердца, колотящегося о заботах и бедах нашего мира, хотя по-своему представленных и видимых во всяком углу.

Помимо исконных национальных литератур существовало и в прежние века понятие мировой литературы — как огибающей по вершинам национальных и как совокупности литературных взаимовлияний. Но случалась задержка во времени: читатели и писатели узнавали писателей иноязычных с опозданием, иногда вековым, так что и взаимные влияния опаздывали, и огибающая национальных литературных вершин проступала уже в глазах потомков; не современников.

А сегодня между писателями одной страны и писателями и читателями другой есть взаимодействие, если не мгновенное, то близкое к тому, я сам на себе испытываю это. Не напечатанные, увы, на родине, мои книги, несмотря на поспешные и часто дурные переводы, быстро нашли себе отзывчивого мирового читателя. Критическим разбором их занялись такие выдающиеся писатели Запада, как Генрих Белль. Все эти последние годы, когда моя работа и свобода не рухнули, держались против законов тяжести как будто в воздухе, как будто ни на чем — на невидимом, немом натяге сочувственной пленки, — я с благодарною теплотой, совсем неожиданно для себя узнал поддержку и мирового братства писателей. В день моего пятидесятилетия я изумлен был, получив поздравления от известных европейских писателей. Никакое давление на меня не стало проходить незамеченным. В опасные для меня недели исключения из писательского союза — стена защиты, выдвинутая видными писателями мира, предохранила меня от худших гонений, а норвежские писатели и художники на случай грозившего мне изгнания с родины гостеприимно готовили мне кров. Наконец, и само выдвижение меня на Нобелевскую премию возбуждено не в той стране, где я живу и пишу, но — Франсуа Мориаком и его коллегами. И, еще позже того, целые национальные писательские объединения выразили поддержку мне.

Так я понял и ощутил на себе: мировая литература — уже не отвлеченная огибающая, уже не обобщение, созданное литературоведами, но некое общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества. Еще багровеют государственные границы, накаленные проволокою под током и автоматными очередями, еще иные министерства внутренних дел полагают, что и литература — «внутреннее дело» подведомственных им стран, еще выставляются газетные заголовки: «не их право вмешиваться в наши внутренние дела!» — а между тем внутренних дел вообще не осталось на нашей тесной Земле! И спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего: людям Востока было бы сплошь безразлично, что думают на Западе; людям Запада — сплошь безразлично, что совершается на Востоке. И художественная литература — из тончайших, отзывчивейших инструментов человеческого существа — одна из первых уже переняла, усвоила, подхватила это чувство растущего единства человечества. И вот я уверенно обращаюсь к мировой литературе сегодняшнего дня — к сотням друзей, которых ни разу не встретил въявь и может быть никогда не увижу.

Друзья! А попробуем пособить мы, если мы чего-нибудь

стоим! В своих странах, раздираемых разногласиями партий, движений, каст и групп, кто же искони был силою не разъединяющей, но объединяющей? Таково по самой сути положение писателей: выразителей национального языка — главной скрепы нации, и самой земли, занимаемой народом, а в счастливом случае и национальной души.

Я думаю, что мировой литературе под силу в эти тревожные часы человечества помочь ему верно узнать самого себя вопреки тому, что внушается пристрастными людьми и партиями: перенести сгущенный опыт одних краев в другие так, чтобы перестало у нас двоиться и рябить в глазах, совместились бы деления шкал, и одни народы узнали бы верно и сжато истинную историю других с тою силой узнавания и болевого ощущения, как будто пережили ее сами, — и тем обережены были бы от запоздалых жестоких ошибок. А сами мы при этом быть может сумеем развить в себе и мировое зрение: центром глаза, как и каждый человек, видя близкое, краями глаза начнем вбирать и то, что делается в остальном мире. И соотнесем, и соблюдем мировые пропорции.

И кому же, как не писателям, высказать порицание не только своим неудачным правителям (в иных государствах это самый легкий хлеб, этим занят всякий кому не лень), но — и своему обществу, в его ли трусливом унижении или в самодовольной слабости, но — и легковесным броскам молодежи, и юным пиратам с замахнутыми ножами?

Скажут нам: что ж может литература против безжалостного натиска открытого насилия? А не забудем, что насилие не живет одно и не способно жить одно: оно непременно сплетено с ложью. Между ними самая родственная, самая природная глубокая связь: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться, кроме как насилием. Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом. Рождаясь, насилие действует открыто и даже гордится собой. Но едва оно укрепится, утвердится, — оно ощущает разрежение воздуха вокруг себя и не может существовать дальше иначе, как затуманиваясь в ложь, прикрываясь ее сладкоречием. Оно уже не всегда, не обязательно прямо душит глотку, чаще оно требует от подданных только присяги лжи, соучастия во лжи.

И простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть это приходит в мир и даже царит в мире — но не через меня. Писателям же и художникам доступно большее: победить ложь! Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает! — зримо, неопровержимо для всех! Против многого в мире может выстоять ложь — но только не против

искусства. А едва развеяна будет ложь — отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падет.

Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру в его раскаленный час. Не отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспечной жизни — но выйти на бой!

В русском языке излюблены пословицы о правде. Они настойчиво выражают немалый тяжелый народный опыт, и иногда поразительно:

Одно слово правды весь мир перетянет.

Вот на таком мнимом фантастическом нарушении закона сохранения масс и энергий основана и моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мира.

1970

А. Д. Сахаров

Мир, прогресс, права человека

Нобелевская лекция

Глубокоуважаемые члены Нобелевского комитета! Глубокоуважаемые дамы и господа!

Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими. Такова главная мысль, которую я хочу отразить в этой лекции.

Я глубоко благодарен за присуждение мне высокой, волнующей награды — Нобелевской премии мира — и за предоставленную возможность выступить сегодня перед вами. Я с особенным удовлетворением воспринял формулировку Комитета, в которой подчеркнута роль защиты прав человека как единственного прочного основания для подлинного и долговечного международного сотрудничества. Эта мысль кажется мне очень важной. Я убежден, что международное доверие, взаимопонимание, разоружение и международная безопасность немислимы без открытости общества, свободы информации, свободы убеждений, гласности, свободы поездок и выбора страны проживания. Я убежден также, что свобода убеждений, наряду с другими гражданскими свободами, является основой научно-технического прогресса и гарантией от использования его достижений во вред человечеству, тем самым основой экономического и социального прогресса, а также является политической гарантией возможности эффективной защиты социальных прав. Таким образом, я защищаю

тезис о первичном, определяющем значении гражданских и политических прав в формировании судеб человечества. Эта точка зрения существенно отличается от технократических концепций, согласно которым определяющее значение имеют именно материальные факторы, социальные и экономические права. (Сказанное не означает, конечно, что я в какой-либо мере отрицаю значение материальных условий жизни людей.)

Все эти тезисы я собираюсь отразить в лекции и особо остановиться на некоторых конкретных проблемах нарушения прав человека, решение которых представляется мне необходимым и срочным.

В соответствии с этим планом выбрано название лекции: «Мир, прогресс, права человека». Это, конечно, сознательная параллель к названию моей статьи 1968 года «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», во многом близкой по своей направленности, по содержащимся в ней предостережениям.

Имеется много признаков того, что начиная со второй половины XX века, человечество вступило в особо ответственный, критический период своей истории.

Создано ракетно-термоядерное оружие, способное в принципе уничтожить все человечество, — это самая большая опасность современности. Благодаря экономическим, промышленным и научным достижениям несравненно более опасными стали также так называемые «обычные» виды вооружения, не говоря уже о химическом и бактериологическом оружии.

Несомненно, успехи промышленного и технологического прогресса являются главным фактором преодоления нищеты, голода и болезней, но они одновременно приводят к угрожающим изменениям в окружающей среде, к истощению ресурсов. Человечество таким образом столкнулось с грозной экологической опасностью.

Быстрые изменения традиционных форм жизни привели к неуправляемому демографическому взрыву, особенно мощному в развивающихся странах третьего мира. Рост населения создает необычайно трудные экономические, социальные и психологические проблемы уже сейчас и неотвратимо угрожает гораздо более серьезными опасностями в будущем. Во многих странах, в особенности в Азии, Африке, Латинской Америке, недостаток продовольствия продолжает оставаться постоянным фактором жизни сотен миллионов людей, обреченных с момента рождения на нищенское, полуголодное существование. При этом прогнозы на будущее, несмотря на несомненные успехи «зеленой революции», являются тревожными, а по мнению многих специалистов — трагическими.

Но и в развитых странах люди сталкиваются с очень серьезными проблемами. Среди них — тяжелые последствия неумеренной урбанизации, потеря социальной и психологической устойчивости общества, непрерывная изнуряющая гонка моды и сверхпроизводства, бешеный, безумный темп жизни и ее изменений, рост числа нервных и психических заболеваний, отрыв все большего числа людей от природы и нормальной, традиционной человеческой жизни, разрушение семьи и простых человеческих радостей, упадок морально-этических устоев общества и ослабление чувства цели и осмысленности жизни. На этом фоне возникают многочисленные и уродливые явления — рост преступности, алкоголизма, наркомании, терроризма и т. п. Навдвигающееся истощение ресурсов Земли, угроза перенаселения, многократно углубленные международными политическими и социальными проблемами, начинают все сильнее давить на жизнь также и в развитых странах, лишая (или угрожая лишить) многих людей ставших уже привычными изобилия, удобства, комфорта.

Однако наиболее существенную, определяющую роль в проблематике современного мира играет глобальная политическая поляризация человечества, разделившая его на так называемый первый мир (условно назовем его «западный»), второй (социалистический), третий (развивающиеся страны). Два крупнейших социалистических государства фактически стали враждующими тоталитарными империями с непомерной властью единственной партии и государства над всеми сторонами жизни своих граждан и с огромным экспансионистским потенциалом, стремящимся подчинить своему влиянию обширные районы земного шара. При этом одно из этих государств — КНР — находится пока на относительно низком уровне экономического развития, а другое — СССР, — используя уникальные природные ресурсы, пройдя через десятилетия неслыханных бедствий и перенапряжений всех сил народа, достигло в настоящее время огромной военной мощи и относительно высокого (хотя и одностороннего) экономического развития. Но и в СССР уровень материальной жизни населения низок, а уровень гражданских свобод даже, чем в малых социалистических странах. Очень сложные общемировые проблемы связаны также с третьим миром, с его относительно экономической пассивностью, сочетающейся с растущей международной политической активностью.

Эта поляризация многократно усиливает и без того очень серьезные опасности, нависшие над миром, — опасности термоядерной гибели, голода, отравления среды, истощения ресурсов, перенаселения, дегуманизации.

Обсуждая весь этот комплекс неотложных проблем и про-

тиворечий, следует прежде всего сказать, что, по моему убеждению, любые попытки замедлить темп научно-технического прогресса, повернуть вспять урбанизацию, призывы к изоляционизму, патриархальности, к возрождению на основе обращения к здоровым национальным традициям прошлых столетий — нереалистичны. Прогресс неизбежен, его прекращение означало бы гибель цивилизации.

Еще не так давно люди не знали минеральных удобрений, машинной обработки земли, ядохимикатов, интенсивных методов земледелия. Есть голоса, призывающие вернуться к более традиционным и, возможно, более безопасным формам земледелия. Но возможно ли осуществить это в мире, где и сейчас сотни миллионов людей страдают от голода? Несомненно, наоборот, необходима дальнейшая интенсификация и распространение ее на весь мир, на все развивающиеся страны. Нельзя отказаться от все более широкого применения достижений медицины и от расширения исследований во всех ее отраслях, в том числе и в таких, как бактериология и вирусология, нейрофизиология, генетика человека и генохирургия, несмотря на потенциальные опасности злоупотребления и нежелательных социальных последствий некоторых из этих исследований. То же относится и к исследованиям в области создания систем имитации интеллекта, к исследованиям в области управления массовым поведением людей, к созданию единых общемировых систем связи, систем сбора и хранения информации и т. п. Совершенно очевидно, что в руках безответственных бюрократических, действующих под покровом секретности учреждений все эти исследования могут оказаться необыкновенно опасными, но в то же время они могут стать крайне важными и необходимыми для человечества, если их осуществлять под контролем гласности, обсуждения, научного социального анализа. Нельзя отказаться от все более широкого использования искусственных материалов, синтетической пищи, от модернизации всех сторон быта людей. Нельзя отказаться от возрастающей автоматизации и укрупнения промышленного производства, несмотря на связанные с этим социальные проблемы.

Нельзя отказаться от строительства все более мощных тепловых и атомных электростанций, от исследований в области управляемой термоядерной реакции, поскольку энергетика — одна из основ цивилизации. Я позволю себе вспомнить в этой связи, что 25 лет назад мне, вместе с моим учителем, лауреатом Нобелевской премии по физике Игорем Евгеньевичем Таммом, довелось стоять у начала исследований управляемой термоядерной реакции в нашей стране. Сейчас эти работы приобрели огромный размах, исследуются самые

различные направления, от классических схем магнитной термоизоляции до методов с использованием лазеров.

Нельзя отказаться от расширения работ по освоению околоземного космоса и по исследованию дальнего космоса, в том числе от попыток приема сигналов от внеземных цивилизаций — шансы на успех таких попыток, вероятно, малы, но зато последствия успеха могут быть грандиозными.

Я назвал только некоторые примеры, их можно умножить. В действительности все главные стороны прогресса тесно связаны между собой, ни одну из них нельзя отменить, не рискуя нарушить все здание цивилизации; прогресс неделим. Но особую роль в механизме прогресса играют интеллектуальные, духовные факторы. Недооценка этих факторов, особенно распространенная в социалистических странах, возможно, под влиянием вульгарных идеологических догм официальной философии, может привести к извращению путей прогресса или даже к его прекращению, к застою. Прогресс возможен и безопасен лишь под контролем Разума. Важнейшая проблема охраны среды — один из примеров, где особенно ясна роль гласности, открытости общества, свободы убеждений. Только частичная либерализация, наступившая в нашей стране после смерти Сталина, сделала возможными памятные всем нам публичные дискуссии первой половины 60-х годов по этой проблеме, но эффективное ее решение требует дальнейшего усиления общественного и международного контроля. Военные применения достижений науки, разоружение и контроль над ним — другая столь же критическая область, где международное доверие зависит от гласности и открытости общества. Упомянутый пример управления массовым поведением людей, при своей внешней экзотичности, тоже вполне актуален уже сейчас.

Свобода убеждений, наличие просвещенного общественного мнения, плюралистический характер системы образования, свобода печати и других средств информации — всего этого сильно не хватает в социалистических странах вследствие присущего им экономического, политического и идеологического монизма. Между тем эти условия жизненно необходимы не только во избежание злоупотреблений прогрессом, вольных и, по неведению, но и для его поддержания. В особенности важно, что только в атмосфере интеллектуальной свободы возможна эффективная система образования и творческой преемственности поколений. Наоборот, интеллектуальная несвобода, власть унылой бюрократии, конформизм, разрушая сначала гуманитарные области знания, литературу и искусство, неизбежно приводят затем к общему интеллектуальному упадку, бюрократизации и формализации всей си-

стемы образования, к упадку научных исследований, исчезновению атмосферы творческого поиска, к застою и распаду.

Сейчас, в поляризованном мире, тоталитарные страны благодаря детанту приобрели возможность своеобразного интеллектуального паразитизма — и похоже, если не произойдет тех внутренних сдвигов, о необходимости которых все мы думаем, скоро им придется встать на этот путь. Один из возможных результатов детанта именно таков. Если это произойдет, взрывоопасность общемировой ситуации может только возрасти. Миру жизненно необходимо всестороннее сотрудничество между странами Запада, социалистическими и развивающимися странами, включая обмен знаниями, технологией, торговлю, экономическую, в частности продовольственную взаимопомощь. Но это сотрудничество должно происходить на основе доверия открытых обществ, как говорят, с открытой душой, на основе истинного равноправия, а не на основе страха демократических стран перед их тоталитарными соседями. Сотрудничество в этом последнем случае означало бы просто попытку задарить, задобрить жуткого соседа. Но подобная политика всегда лишь отсрочка беды, которая вскоре возвращается в другую дверь с удесятенными силами, это попросту новый вариант мюнхенской политики. Устойчивый успех детанта возможен только, если с самого начала он сопровождается непрестанной заботой об открытости всех стран, об увеличении уровня гласности, о свободном обмене информацией, о непременном соблюдении во всех странах гражданских и политических прав — короче говоря, при дополнении разрядки в материальной сфере разоружения и торговли разрядкой в духовной, идеологической сфере. Об этом прекрасно сказал президент Франции Жиска́р д'Э́стен во время своего визита в Москву. Право, стоило пережить упреки некоторых недалёковидных прагматиков из числа его соотечественников ради того, чтобы поддержать важнейший принцип!

Прежде чем перейти к обсуждению проблем разоружения, я хочу воспользоваться возможностью и еще раз напомнить некоторые свои предложения общего характера. Это прежде всего идея создания под эгидой ООН Международного Консультативного Комитета по вопросам разоружения, прав человека и охраны среды. Комитету, согласно моей мысли, должно быть предоставлено право получения обязательных ответов от всех правительств на его запросы и рекомендации. Такой Комитет явился бы важным рабочим органом для обеспечения общемировых дискуссий и гласности по самым важным проблемам, от которых зависит будущее человечества. Я жду поддержки и обсуждения этой идеи.

Я также хочу подчеркнуть, что я считаю особенно важным более широкое использование войск ООН для купирования международных и межнациональных вооруженных конфликтов. Я очень высоко оцениваю возможную и необходимую роль ООН, считая ее одной из главных надежд человечества на лучшее будущее. Последние годы — трудные, критические для этой организации. Я писал об этом в книге «О стране и мире», уже после ее выхода в свет заслуживающим сожаления событием было принятие Генеральной Ассамблеей (причем почти без обсуждения по существу) резолюции, объявившей сионизм формой расизма и расовой дискриминации. Все беспристрастные люди знают, что сионизм — это идеология национального возрождения еврейского народа после 2-х тысяч лет рассеяния и что эта идеология не направлена против других народов. Принятие подобной резолюции, по моему мнению, нанесло удар престижу ООН. Несмотря на подобные факты, часто порождаемые отсутствием чувства ответственности перед человечеством у руководителей некоторых более молодых членов ООН, я все же верю, что рано или поздно ООН сумеет играть в жизни человечества достойную роль, в соответствии с целями Устава.

Перехожу к одной из центральных проблем современности — к разоружению. Я подробно изложил свою позицию в книге «О стране и мире». Необходимо укрепление международного доверия, совершенный контроль на местах силами международных инспекционных групп. Все это невозможно без расширения разрядки на область идеологии, без увеличения открытости общества. В этой же книге я подчеркнул необходимость международных соглашений об ограничении поставок оружия другим государствам, прекращение новых разработок систем оружия по специальным соглашениям, соглашение о запрещении секретных работ, устранение факторов стратегической неустойчивости, в частности запрещение разделяющихся боеголовок.

Как же я представляю себе идеальное общемировое соглашение о разоружении в техническом плане?

Я думаю, что такому соглашению должно предшествовать официальное (не обязательно сразу открытое) заявление об объеме всех видов военного потенциала (от запасов термоядерных зарядов до прогнозов контингентов военнообязанных), с указанием примерной условной разбивки по районам «потенциальной конфронтации». Соглашение должно предусматривать в качестве первого этапа ликвидацию преимуществ одной стороны над другой, отдельной для каждого стратегического района и для каждого вида военного потенциала (конечно, это только схема, от которой неизбежны некоторые от-

клонения). Таким образом, будет исключено, во-первых, что соглашение в одном стратегическом районе (скажем, в Европе) будет использовано для усиления военных позиций в другом районе (скажем, на советско-китайской границе); и, во-вторых, исключены возможные несправедливости из-за трудности количественно сопоставить значимость разных видов потенциала (например, трудно сказать, скольким зенитным установкам ПРО эквивалентен один крейсер и т. п.). Следующим этапом сокращения вооружений должно явиться пропорциональное сокращение одновременно для всех стран и всех стратегических районов. Такая формула «сбалансированного» двухэтажного сокращения вооружений обеспечит непрерывающуюся безопасность каждой страны, непрерывное равновесие сил в каждом районе потенциальной конфронтации и одновременно радикальное решение экономических и социальных проблем, порождаемых милитаризацией. На протяжении многих десятилетий варианты подобного подхода выдвигаются многими экспертами и государственными деятелями, однако до сих пор успех очень незначителен. Но я надеюсь, что сейчас, когда человечеству реально угрожает гибель в огне термоядерных взрывов, разум людей не допустит этого исхода. Радикальное сбалансированное разоружение действительно необходимо и возможно как часть многостороннего и сложного процесса разрешения грозных, неотложных мировых проблем. Та новая фаза межгосударственных отношений, которая получила название разрядки или детанта и, вероятно, имеет своим кульминационным пунктом совещание в Хельсинки, в принципе открывает определенные возможности продвижения в этом направлении.

Заключительный акт совещания в Хельсинки в особенности привлекает наше внимание тем, что в нем впервые официально отражен тот комплексный подход к решению проблем международной безопасности, который представляется единственно возможным; в акте содержатся глубокие формулировки о связи международной безопасности с защитой прав человека, свободы информации и свободы передвижения и важные обязательства стран-участников, гарантирующие эти права. Очевидно, конечно, что речь идет не о гарантированном результате, а именно о новых возможностях, которые могут быть реализованы лишь в результате длительной планомерной работы, с единой и последовательной позицией всех стран-участников, в особенности демократических стран.

Это относится, в частности, к проблеме прав человека, которой посвящена последняя часть лекции. В нашей стране, о которой я теперь буду говорить преимущественно, за месяцы, прошедшие после совещания в Хельсинки, вообще не про-

изошло сколько-нибудь существенного улучшения в этом направлении; в отдельных же вопросах замечаются даже попытки сторонников жесткого курса «завинтить» гайки.

Все в том же состоянии находятся важные проблемы международного информационного обмена, свободы выбора страны проживания, поездок для учения, работы, лечения, просто туризма. Чтобы конкретизировать это утверждение, я сейчас приведу некоторые примеры — не в порядке их важности и не стремясь к полноте.

Вы все знаете лучше, чем я, что дети, скажем, из Дании могут сесть на велосипеды и весело доехать до Адриатики. Никто не увидит в них «малолетних шпионов». Но советские дети этого не могут! Вы сами можете мысленно развить этот пример (и все нижеследующие) на множество аналогичных ситуаций.

Вы знаете, что Генеральная Ассамблея под давлением социалистических стран приняла решение, ограничивающее свободу телевизионного вещания со спутников. Я думаю, что сейчас, после Хельсинки, есть все основания для его пересмотра. Для миллионов советских граждан это очень важно и интересно.

В СССР качество протезов для инвалидов крайне низкое. Но ни один советский инвалид, даже имея вызов от иностранной фирмы, не может выехать по этому вызову за границу.

В советских газетных киосках нельзя купить некоммунистических зарубежных газет да и коммунистические продаются далеко не каждый номер. Даже такие информационные журналы, как «Америка», крайне дефицитны и продаются в ничтожном числе киосков, расходятся же мгновенно и обычно с «нагрузкой» неходовых изданий.

Каждый, желающий эмигрировать из СССР, должен иметь вызов от близких родственников. Для многих это неразрешимая проблема, например, для 300 тысяч немцев, желающих уехать в ФРГ (к тому же квота на выезд составляет для немцев всего 5 тысяч человек в год, то есть выезд распланирован на 60 лет!). За этим — огромная трагедия. Особенно трагично положение лиц, желающих соединиться с родственниками в социалистических странах, — за них никому заступиться, и произвол властей не знает пределов.

Свобода передвижения, выбора места работы и жительства продолжает нарушаться для миллионов колхозников, продолжает нарушаться для сотен тысяч крымских татар, 30 лет назад с огромными жестокостями выселенных из Крыма и до сих пор лишенных права вернуться на родную землю.

Заключительный акт совещания в Хельсинки вновь подтвердил принципы свободы убеждений. Но требуется боль-

шая и упорная борьба, чтобы эти положения акта имели не только декларативное значение. В СССР многие тысячи людей преследуются сегодня за убеждения в судебном и несудебном порядке — за религиозные верования и желание воспитывать своих детей в религиозном духе; за чтение и распространение (часто простое ознакомление 1—2 человек) нежелательной властям литературы, обычно абсолютно легальной по демократическим нормам, например, религиозной; за попытку покинуть страну; особенно важна в моральном плане проблема преследования лиц, страдающих за защиту других жертв несправедливости, за стремление к гласности, в частности, за распространение информации о судах, преследованиях за убеждения, об условиях мест заключения.

Невыносима мысль, что сейчас, когда мы собрались для праздничной церемонии в этом зале, сотни и тысячи узников совести страдают от тяжелого многолетнего голода, от почти полного отсутствия в пище белков и витаминов, от отсутствия лекарств (витамины и лекарства запрещено пересылать в места заключения), от непосильной работы, дрожат от холода, сырости и истощения в полутемных карцерах, вынуждены вести непрестанную борьбу за свое человеческое достоинство, за убеждения против машины «перевоспитания», а фактически слома их души. Особенности системы мест заключения тщательно скрываются, десятки людей страдают за ее разоблачение — это лучшее доказательство реальности обвинений в ее адрес. Наше чувство человеческого достоинства требует немедленного изменения этой системы для всех заключенных, как бы они ни были виновны. Но что сказать о муках невинных? Самое же страшное — ад спецпсихбольниц Днепропетровска, Сычевки, Благовещенска, Казани, Черняховска, Орла, Ленинграда, Ташкента...

Я не могу сегодня рассказывать конкретные судебные дела, конкретные судьбы. Есть большая литература (я обращаю здесь ваше внимание на издания издательства «Хроника-Пресс» в Нью-Йорке, перепечатавающего, в частности, советский самиздатский журнал «Хроника текущих событий» и издающего аналогичный информационный бюллетень). Я просто назову здесь, в этом зале, имена некоторых известных мне узников. Как уже вы слышали вчера, я прошу вас считать, что все узники совести, все политзаключенные моей страны разделяют со мной честь Нобелевской премии мира.

Вот некоторые известные мне имена: Плющ, Буковский, Глузман, Мороз, Мария Семенова, Надежда Светличная, Стефания Шабатура, Ирина Калинец-Стасив, Ирина Сенник, Нийоле Садунайте, Анаит Карапетян, Осипов, Кронид Любарский, Шумук, Винс, Румачик, Хаустов, Суперфин, Паулайтис,

Симулис, Караванский, Валерий Марченко, Шухевич, Павленков, Черноглаз, Абанькин, Сусленский, Мешенер, Светличный, Сафронов, Роде, Шакиров, Хейфец, Афанасьев, Мо-Хун, Бутман, Лукьяненко, Огурцов, Сергиенко, Антонюк, Лупынос, Рубан, Плaxотнюк, Ковгар, Белов, Игрунов, Солдатов, Мяттик, Юшкевич, Кийренд, Здоровый, Товмасын, Шахвердян, Загробян, Айрикан, Маркосян, Аршакян, Мираускас, Стус, Сверстюк, Кандыба, Убожко, Романюк, Воробьев, Гель, Пронюк, Гладко, Мальчевский, Гражис, Пришляк, Сапеляк, Калинец, Супрей, Вальдман, Демидов, Берничук, Шовковский, Горбачев, Верхов, Турик, Жукаускас, Сенькив, Гринькин. Навасардян, Саартс, Юрий Вудка, Пуце, Давыдов, Болонкин, Лисовой, Петров, Чекалин, Городецкий, Черновол, Балахонov, Бондарь, Калининченко, Коломин, Плумпа, Яугалис, Федосеев, Осадчий, Будулак-Шарыгин, Макаренченко, Малкин, Штерн, Лазарь Любарский, Фельдман, Ройбурт, Школьник, Мурженко, Федоров, Дымшиц, Кузнецов, Менделевич, Альтман, Пэнсон, Хнох, Вульф Залмансон, Израиль Залмансон и многие, многие другие. В несправедливой ссылке — Анатолий Марченко, Нашпиц, Цитленок. Ожидают суда — Мустафа Джемилев, Ковалев, Твердохлебов. Я не мог назвать всех известных мне узников за неимением места, еще больше я не знаю или не имею под рукой справки. Но я всех подразумеваю мысленно и всех не названных явно прошу извинить меня. За каждым названным и не названным именем — трудная и героическая человеческая судьба, годы страданий, годы борьбы за человеческое достоинство.

Кардинальное решение проблемы преследования за убеждения — освобождение на основе международного соглашения, возможно, — решение Генеральной Ассамблеи ООН, как политзаключенных, всех узников совести в тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах. В этом предложении нет никакого вмешательства во внутренние дела какой-либо страны, ведь оно в равной мере распространяется на все страны, на СССР, Индонезию, Чили, ЮАР, Испанию, Бразилию, на все другие страны, и потому, что защита прав человека провозглашена Всеобщей декларацией ООН международным, а не внутренним делом. Ради этой великой цели нельзя жалеть сил, как бы ни был долг путь, — а что он долг, это мы видели во время последней сессии ООН. США на этой сессии внесли предложение о политической амнистии, но затем сняли его после попытки ряда стран чересчур (по мнению делегации США) расширить рамки амнистии. Я сожалею о происшедшем. Но снять проблему нельзя. И я глубоко убежден, что лучше освободить некоторое число людей в чем-то виновных, чем держать в заключении и истязать тысячи невинных.

Не отказываясь от кардинального решения, сегодня мы должны бороться за каждого человека в отдельности, против каждого случая несправедливости, нарушения прав человека — от этого зависит слишком многое в нашем будущем.

Стремясь к защите прав людей, мы должны выступать, по моему убеждению, в первую очередь как защитники невинных жертв существующих в разных странах режимов, без требования сокрушения и тотального осуждения этих режимов. Нужны реформы, а не революции. Нужно гибкое, плюралистическое и терпимое общество, воплощающее в себе дух поиска, обсуждения и свободного, недогматического использования достижений всех социальных систем. Что это — разрядка? конвергенция? — дело не в словах, а в нашей решимости создать лучшее, более доброе общество, лучший мировой порядок.

Тысячелетия назад человеческие племена проходили суровый отбор на выживаемость; и в этой борьбе было важно не только умение владеть дубинкой, но и способность к разуму, к сохранению традиций, способность к альтруистической взаимопомощи членов племени. Сегодня все человечество в целом держит подобный же экзамен. В бесконечном пространстве должны существовать многие цивилизации, в том числе более разумные, более «удачные», чем наша. Я защищаю также космологическую гипотезу, согласно которой космологическое развитие Вселенной повторяется в основных своих чертах бесконечное число раз. При этом другие цивилизации, в том числе более «удачные», должны существовать бесконечное число раз на «предыдущих» и «последующих» к нашему миру листах книги Вселенной. Но все это не должно умалить нашего священного стремления именно в этом мире, где мы, как вспышка во мраке, возникли на одно мгновение из черного небытия бессознательного существования материи, осуществить требования Разума и создать жизнь, достойную нас самих и смутно угадываемой нами Цели.

1 декабря 1975 г.

И. А. Бродский

Нобелевская лекция

Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в этом предпочтении довольно далеко, — и в частно-

сти от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии — оказаться внезапно на этой трибуне — большая неловкость и испытание.

Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кого эта честь миновала, кто не смог, что называется, обратиться *inibi et obibi* с этой трибуны и чье молчание как бы ищет и не находит себе в вас выхода.

Единственное, что может примирить вас с подобным положением, это то простое соображение, что — по причинам прежде всего стилистическим — писатель не может говорить за писателя, особенно — поэт за поэта; что окажись на этой трибуне Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уистан Оден, — они невольно говорили бы за самих себя и, возможно, тоже испытывали бы некоторую неловкость.

Эти тени смущают меня постоянно, смущают они меня и сегодня, во всяком случае, они не поощряют меня к красноречию, в лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой — но всегда меньшей, чем любая из них в отдельности, ибо быть лучше их на бумаге невозможно; невозможно быть лучше их и в жизни, и это именно их жизни, сколь бы трагичны и горьки они ни были, заставляют меня часто — видимо, чаще, чем следовало бы — сожалеть о движении времени. Если тот свет существует — а отказать им в возможности вечной жизни я не более в состоянии, чем забыть об их существовании в этой — если тот свет существует, то они, надеюсь, простят мне и качество того, что я здесь собираюсь изложить: в конце концов не поведением на трибуне достоинство нашей профессии мерится.

Я назвал лишь пятерых — тех, чье творчество и чьи судьбы мне дороги хотя бы уже потому, что, не будь их, как человек и как писатель я бы стоил немногого: во всяком случае я не стоял бы сегодня здесь.

Их, этих теней — лучше: источников света — ламп? звезд? — было конечно же больше, чем пятеро, и любая из них способна обречь на абсолютную немоту.

Число их велико в жизни любого сознательного литератора; в моем случае оно удваивается, благодаря тем двум культурам, к которым я волею судеб принадлежу, не облегчает дела также и мысль о современниках и собратях по перу в обеих этих культурах, о поэтах и прозаиках, чьи дарования я ценю выше собственного, и которые, окажись они на этой трибуне, уже давно бы перешли к делу, ибо у них есть больше, что сказать миру, нежели у меня.

Поэтому я позволю себе здесь ряд замечаний — возможно,

нестройных, сбивчивых и могущих озадачить вас своей бес-
связностью. Однако количество времени, отпущенное мне на
то, чтобы собраться с мыслями, и самая моя профессия за-
щитят меня, надеюсь, хотя бы отчасти от упреков в хаотич-
ности. Человек моей профессии редко претендует на система-
тичность мышления: в худшем случае он претендует на систе-
му, но и это у него, как правило, заемное: от среды, от обще-
ственного устройства, от занятий философией в нежном воз-
расте, ничто не убеждает художника более в случайности
средств, которыми он пользуется для достижения той или
иной — пусть даже и постоянной — цели, нежели самый твор-
ческий процесс, процесс сочинительства. Стихи, по слову Ах-
матовой, действительно растут из сора; корни прозы — не бо-
лее благородны.

2

Если искусство чему-то и учит (и художника в первую
голову), то именно частности человеческого существования,
Будучи наиболее древней — и наиболее буквальной — формой
частного предпринимательства, оно вольно или невольно по-
ощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности,
уникальности, отдельности — превращая его из общественного
животного в личность. Многое можно разделить: хлеб, ложе,
убеждения, возлюбленную — но не стихотворение, скажем,
Райнера Марии Рильке. Произведение искусства, литература
в особенности и стихотворение в частности, обращается к че-
ловеку «tête-à-tête», вступает с ним в прямые, без посредни-
ков, отношения. За это-то недолюбливают искусство вообще,
литературу в особенности и поэзию в частности ревнители
всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической
необходимости. Ибо там, где прошло искусство, где прочитано
стихотворение, они обнаруживают на месте ожидаемого со-
гласия и единодушия — равнодушие и разногласие, на месте
решимости к действию — невнимание и брезгливость, иными
словами, в нолики, которыми ревнители всеобщего блага и
повелители масс норовят оперировать, искусство вписывает
«точку-точку-запятую с минусом», превращая каждый нолик
в пусть не всегда привлекательную, но человеческую рожицу.

Великий Баратынский, говоря о своей музе, охарактеризо-
вал ее как обладающую «лица необщим выраженьем». В при-
обретении этого необщего выражения и состоит, видимо,
смысл индивидуального существования, ибо к необщности
этой мы подготовлены уже как бы генетически. Независимо
от того, является ли человек писателем или читателем, зада-
ча его состоит прежде всего в том, чтобы прожить свою соб-

ственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь. Ибо она у каждого из нас только одна, и мы хорошо знаем, чем это все кончается. Было бы досадно израсходовать этот единственный шанс на повторение чужой внешности, чужого опыта, на тавтологию — тем более обидно, что глашатаи исторической необходимости, по чьему наущению человек на тавтологию эту готов согласиться, в гроб с ним не лягут и спасибо не скажут.

Язык и, думается, литература — вещи более древние, неизбежные и долговечные, нежели любая форма общественной организации. Негодование, ирония или безразличие, выражаемые литературой зачастую по отношению к человечеству, есть, по существу, реакция постоянного, лучше сказать — бесконечного, по отношению к временному, ограниченному. По крайней мере, до тех пор, пока государство позволяет себе вмешиваться в дела литературы, литература имеет право вмешиваться в дела государства. Политическая система, форма общественного устройства, как всякая система вообще, по определению, форма прошедшего времени, пытающаяся навязать себя настоящему (а зачастую и будущему), и человек, чья профессия язык — последний, кто может позволить себе позабыть об этом. Подлинной опасностью для писателя является не столько возможность (часто реальность) преследования со стороны государства, сколько возможность оказаться загипнотизированным его, государства, монструозными или претерпевающими изменения к лучшему — но всегда временными — очертаниями.

Философия государства, его этика, не говоря о его эстетике — всегда «вчера»; язык, литература — всегда «сегодня» и часто — особенно в случае ортодоксальности той или иной политической системы — даже и «завтра». Одна из заслуг литературы в том и состоит, что она позволяет человеку уточнить время его существования, отличить себя в толпе как предшественников, так и себе подобных, избежать тавтологии, то есть участи, известной иначе под почтенным именем «жертвы истории». Искусство вообще и литература в частности тем и замечательны, тем и отличаются от жизни, что всегда бегут повторения. В обыденной жизни вы можете рассказать тот же анекдот трижды — и трижды, вызвав смех, оказаться душою общества. В искусстве подобная форма поведения называется «клише». Искусство есть орудие безотказное, и развитие его определяется не индивидуальностью художника, но динамикой и логикой самого материала, предыдущей судьбой средств, требующих найти (или подсказать) всякий раз качественно новое эстетическое решение. Обла-

дающее собственной генеалогией, динамикой, логикой и будущим, искусство не синонимично, но, в лучшем случае, параллельно истории, и способом его существования является создание всякий раз новой эстетической реальности. Вот почему оно часто оказывается «впереди прогресса», впереди истории, основным инструментом которой является — а не уточнить ли нам Маркса? — именно клише.

На сегодняшний день чрезвычайно распространено утверждение, будто писатель, поэт в особенности, должен пользоваться в своих произведениях языком улицы, языком толпы. При всей своей кажущейся демократичности и осязаемых практических выгодах для писателя, утверждение это вздорно и представляет собой попытку подчинить искусство, в данном случае литературу, истории. Только если мы решили, что «сапиенсу» пора остановиться в своем развитии, следует литературе говорить на языке народа. В противном случае народу следует говорить на языке литературы.

Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека его реальность этическую. Ибо эстетика — мать этики; понятия «хорошо» и «плохо» — понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории «добра» и «зла». В этике не «все позволено» потому что количество цветов в спектре ограничено. Несмышленный младенец, с плачем отвергающий незнакомца или, наоборот, к нему тянувшийся, отвергает его и тянется к нему, инстинктивно совершая выбор эстетический, а не нравственный.

Эстетический выбор всегда индивидуален, и эстетическое переживание всегда переживание частное. Всякая новая эстетическая реальность делает человека, ее переживающего, лицом еще более частным, и частность эта, обретающая иной раз форму литературного (или какого-либо иного) вкуса, уже сама по себе может оказаться если не гарантией, то формой защиты от порабощения. Ибо человек со вкусом, в частности, литературным, менее восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии. Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией создания шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт индивидуума, тем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее — хотя, возможно, и не счастливее.

Именно в этом, скорее прикладном, чем платоническом смысле следует понимать замечание Достоевского, что «красота спасет мир» или высказывание Мэтью Арнолда, что нас спасет поэзия. Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно. Эстетическое чутье в че-

ловеке развивается весьма стремительно, ибо, даже не полностью отдавая себе отчет в том, чем он является и что ему на самом деле необходимо, человек, как правило, инстинктивно знает, что ему не нравится и что его не устраивает. В антропологическом смысле, повторяю, человек является существом эстетическим прежде, чем этическим. Искусство поэтому, в частности, литература, не побочный продукт видового развития, а ровно наоборот. Если тем, что отличает нас от прочих представителей животного царства, является речь, то литература, и в частности поэзия, будучи высшей формой словесности, представляет собой, грубо говоря, нашу видовую цель.

Я далек от идеи поголовного обучения стихосложению и композиции; тем не менее подразделение общества на интеллигенцию и на всех остальных представляется мне неприемлемым. В нравственном отношении подразделение это подобно подразделению на богатых и нищих; но если для существования социального неравенства еще мыслимы какие-то чисто физические, материальные обоснования, для неравенства интеллектуального они немыслимы. В чем-чем, а в этом смысле равенство гарантировано нам от природы. Речь идет не об образовании, а об образовании речи, малейшая приблизительность в которой чревата вторжением в жизнь человека ложного выбора. Существование литературы подразумевает существование на уровне литературы — и не только нравственно, но и лексически. Если музыкальное произведение еще оставляет человеку возможность выбора между пассивной ролью слушателя и активной исполнителя, произведение литературы — искусства, по выражению Монтале, безнадежно семантического — обрекает его на роль только исполнителя.

В этой роли человеку выступать, мне кажется, следовало бы чаще, чем в какой-либо иной. Более того, мне кажется, что роль эта в результате популяционного взрыва и связанной с ним все возрастающей атомизацией общества, то есть со все возрастающей изоляцией индивидуума, становится все более неизбежной. Я не думаю, что я знаю о жизни больше, чем любой человек моего возраста, но мне кажется, что в качестве собеседника книга более надежна, чем приятель или возлюбленная. Роман или стихотворение — не монолог, но разговор писателя с читателем — разговор, повторяю, крайне частный, исключаяющий всех остальных, если угодно — обоюдно мизантропический. И в момент этого разговора писатель равен читателю, или, впрочем, и наоборот, независимо от того, великий это писатель или нет. Равенство это — равенство сознания, и оно остается с человеком на всю жизнь в виде памяти

ти, смутной или отчетливой, и рано или поздно, кстати или нестати, определяет поведение индивидуума. Именно это я и имею в виду, говоря о роли исполнителя, тем более естественной, что роман или стихотворение есть продукт взаимного одиночества писателя и читателя.

В истории нашего вида, в истории «сапиенса», книга — феномен антропологический, аналогичный, по сути изобретению колеса. Возникшая для того, чтобы дать нам представление не столько о наших истоках, сколько о том, на что этот «сапиенс» способен, книга является средством передвижения в пространстве опыта со скоростью переворачиваемой страницы. Перемещение это, в свою очередь, как всякое перемещение, оборачивается бегством от общего знаменателя, от попытки навязать знаменателя этого черту, не поднимавшуюся ранее выше пояса, нашему сердцу, нашему сознанию, нашему воображению. Бегство это — бегство в сторону необщего выражения лица. По чьему бы образу и подобию мы ни были созданы, нас уже пять миллиардов, и другого будущего, кроме очерченного искусством, у человека нет. В противном случае нас ожидает прошлое — прежде всего, политическое, со всеми его массовыми полицейскими прелестями.

Во всяком случае, положение, при котором искусство вообще, и литература в частности, являются в обществе достоянием (прерогативой) меньшинства, представляется мне нездоровым и угрожающим. Я не призываю к замене государства библиотекой — хотя мысль эта неоднократно меня посещала — но я не сомневаюсь, что, выбирай мы своих властителей на основании их читательского опыта, а не на основании их политических программ, на земле было бы меньше горя. Мне думается, что потенциального властителя наших судеб следовало бы спрашивать прежде всего не о том, как он представляет себе курс иностранной политики, а о том, как он относится к Стендалю, Диккенсу, Достоевскому, хотя бы уже по одному тому, что насущным хлебом литературы является именно человеческое разнообразие и безобразие, она, литература, оказывается надежным противоядием от каких бы то ни было — известных и будущих — попыток тотального массового подхода к решению проблем человеческого существования. Как система нравственного, по крайней мере, страхования, она куда более эффективна, нежели та или иная система верования или философская доктрина.

Потому что не может быть законов, защищающих нас от самих себя, ни один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за преступления против литературы. И среди преступлений этих наиболее тяжким является не преследование авторов, не цензурные ограничения и т. п., не предание книги

костру. Существует преступление более тяжкое — пренебрежение книгами, их не-чтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью; если же это преступление совершает нация — она платит за это своей историей. Живя в стране, в которой живу, я впервые был готов поверить, что существует некая пропорция между материальным благополучием человека и его литературным невежеством; удерживает от этого меня однако история страны, в которой я родился и вырос. Ибо сведенная к причинно-следственному минимуму, к грубой формуле, русская трагедия — это именно трагедия общества, литература в котором оказалась прерогативой меньшинства — знаменитой русской интеллигенции.

Мне не хочется распространяться на эту тему, не хочется омрачать этот вечер мыслями о десятках миллионов человеческих жизней, загубленных миллионами же — ибо то, что происходило в России в первой половине 20 века, происходило до внедрения автоматического стрелкового оружия — во имя торжества политической доктрины, несостоятельность которой уже в том и состоит, что она требует человеческих жертв для своего осуществления. Скажу только, что — не по опыту, увы, а только теоретически, — я полагаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительней, чем для человека, Диккенса не читавшего. И я говорю именно о чтении Диккенса, Стендаля, Достоевского, Флобера, Бальзака, Мелвилла и т. д., то есть литературы, а не грамотности — не об образовании. Грамотный-то, образованный-то человек вполне может, тот или иной политический трактат прочтя, убить себе подобного и даже испытать при этом восторг убеждения. Ленин был грамотен, Сталин был грамотен, Гитлер тоже, Мао Цзе Дун, так тот даже стихи писал.

Однако, перед тем, как перейти к поэзии, я хотел бы добавить, что русский опыт было бы разумно рассматривать как предостережение, хотя бы еще и потому, что социальная структура Запада в общем до сих пор аналогична тому, что существовало в России до 1917 года. (Именно этим, между прочим, объясняется популярность русского психологического романа 19 века на Западе и сравнительный неуспех современной русской прозы. Общественные отношения, сложившиеся в России в 20 веке, представляются, видимо, читателю не менее диковинными, чем имена персонажей, мешая ему ориентировать себя с ними.).

Одних только политических партий, например, накануне октябрьского переворота 1917 года, в России существовало ничуть не меньше, чем существует сегодня в США или Великобритании. Иными словами, человек бесстрастный мог бы за-

метить, что в определенном смысле 19 век на Западе еще продолжается. В России он кончился; и если я говорю, что он кончился трагически, то это прежде всего из-за количества человеческих жертв, которое повлекла за собой наступившая социальная и хронологическая перемена. В настоящей трагедии гибнет не герой — гибнет хор.

3

Хотя для человека, чей родной язык — русский, разговоры о политическом зле столь же естественны, как и пищеварение, я хотел бы теперь переменить тему. Недостаток разговоров об очевидном хотя бы в том, что они развращают сознание своей легкостью. Своим легко обретаемым ощущением правоты. В этом их соблазн, сходный по своей природе с соблазном социального реформатора, зло это порождающего. Осознание этого соблазна и отталкивание от него в определенной степени ответственны за судьбы моих современников, не говоря уже о собратях по перу, ответственны за литературу, из-под их перьев возникшую. Она, эта литература, не была ни бегством от истории, ни заглушением памяти, как это может показаться со стороны. «Как можно сочинять музыку после Аушвица?» — вопрошает Адорно, и человек, знакомый с русской историей, может повторить тот же вопрос, заменив в нем название лагеря, — повторить его, пожалуй, с большим даже правом, ибо количество людей, сгинувших в сталинских лагерях, далеко превосходит количество людей, сгинувших в немецких. «А как после Аушвица можно есть ланч?» — заметил на это как-то американский поэт Марк Стрэнд. Поколение, к которому я принадлежу, во всяком случае, оказалось способным сочинить эту музыку.

Это поколение — поколение, родившееся именно тогда, когда крематории Аушвица дымили на полную мощность, когда Сталин пребывал в зените своей богоподобной, абсолютной, самой природой, казалось, санкционированной власти, явилось в мир, судя по всему, чтобы продолжить то, что теоретически должно было прерваться в этих крематориях и в безымянных общих могилах сталинского архипелага. Тот факт, что не все прервалось — по крайней мере, в России — есть немалая заслуга моего поколения, и я горд своей к нему принадлежностью не в меньшей мере, чем тем, что я стою здесь сегодня. И тот факт, что я стою здесь сегодня, есть признание заслуг этого поколения перед культурой; вспоминая Мандельштама, я бы добавил — перед мировой культурой. Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы начинали на пустом, точнее пугающем своей опустошенностью месте, и что скорее ин-

туитивно, чем сознательно, мы стремились именно к воссозданию ее форм и тропов, к наполнению ее немногих уцелевших и часто скомпрометированных форм собственным, новым или казавшимся нам таковым современным содержанием.

Существовал, вероятно, другой путь — путь дальнейшей деформации, поэтики осколков и развалин, минимализма, пресекаемого дыхания. Если мы от него отказались, то вовсе не потому, что он казался нам путем самодраматизации, или потому что мы были чрезвычайно одушевлены идеей сохранения наследственного благородства известных нам форм культуры, равнозначных в нашем сознании формам человеческого достоинства.

Мы отказались от него потому, что выбор этот был опять-таки эстетический, а не нравственный. Конечно же, человеку естественней рассуждать о себе не как об орудии культуры, но наоборот, как о ее творце и хранителе. Но если я сегодня утверждаю противоположное, то это не потому, что есть определенное очарование в перефразировании на исходе 20 столетия Плотина, лорда Шефтсбери, Шеллинга или Новалиса, но потому, что кто-то, а поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом музыки, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он — средством языка к продолжению своего существования. Язык же — даже, если представить его как некое одушевленное существо (что было бы только справедливым) — к этическому выбору не способен.

Человек принимается за сочинение стихов по разным соображениям: чтобы завоевать сердце возлюбленной, чтобы выразить свое отношение к окружающей его реальности, будь то пейзаж или государство, чтобы запечатлеть душевное состояние, в котором он в данный момент находится, чтоб оставить — как он думает в ту минуту — след на земле. Он прибегает к этой форме — к стихотворению — по соображениям, скорее всего, бессознательно-миметическим: черный вертикальный сгусток слов посреди белого листа бумаги, видимо, напоминает человеку о его собственном положении в мире, о пропорции пространства к его телу. Но независимо от соображений, по которым он берется за перо, и независимо от эффекта, производимого тем, что выходит из-под его пера, на аудиторию, сколь бы велика или мала она ни была, — непременное последствие этого предприятия — ощущение вступления в прямой контакт с языком, точнее — ощущение немедленного впадения в зависимость от оно́го, от всего, что на нем уже высказано, написано, осуществлено.

Зависимость эта — абсолютная, деспотическая, но она же и раскрепощает. Ибо будучи всегда старше, чем писатель,

язык обладает еще колоссальной центробежной энергией, сообщаемой ему его временным потенциалом — то есть всем лежащим впереди временем. И потенциал этот определяется не столько количественным составом нации, на нем говорящей, хотя и этим тоже, сколько качеством стихотворения, на нем сочиняемого.

Достаточно вспомнить авторов греческой и римской античности, достаточно вспомнить Данте. Создаваемое сегодня по-русски или по-английски, например, гарантирует существование этих языков в течение следующего тысячелетия. Поэт, повторяю, есть средство существования языка. Или, как сказал великий Оден, он — тот, кем язык жив. Не станет меня, эти строки пишушего, не станет вас, их читающих, но язык, на котором они написаны и на котором вы их читаете, останется не только потому, что язык долговечнее человека, но и потому, что он лучше приспособлен к мутации.

Пишущий стихотворение, однако, пишет его не потому, что он рассчитывает на посмертную славу, хотя он часто и надеется, что стихотворение его переживет, пусть ненадолго. Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее. Существует, как мы знаем, три метода познания: аналитический, интуитивный и метод, которым пользовались библейские пророки — посредством откровения. Отличие поэзии от прочих форм литературы в том, что она пользуется сразу всеми тремя (тяготая преимущественно ко второму и третьему), ибо все три даны в языке; и порой с помощью одного слова, одной рифмы — пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него никто не бывал, — и дальше, может быть, чем он сам бы желал. Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихотворение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ощущение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков и алкоголя. Человек, находящийся в такой зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом.

II. СУДЕБНЫЕ РЕЧИ

Речь присяжного поверенного П. А. Александрова в защиту В. И. Засулич

Господа присяжные заседатели! Я выслушал благородную, сдержанную речь товарища прокурора, и со многим из того, что сказано им, я совершенно согласен; мы расходимся лишь в весьма немногом, но тем не менее задача моя после речи господина прокурора не оказалась облегченной. Не в фактах настоящего дела, не в сложности их лежит его трудность; дело это просто по своим обстоятельствам, до того просто, что, если ограничиться одним только событием 24 января, тогда почти и рассуждать не придется. Кто станет отрицать, что самоуправное убийство есть преступление; кто будет отрицать то, что утверждает подсудимая, что тяжело поднимать руку для самоуправной расправы? Все это истины, против которых нельзя спорить, но дело в том, что событие 24 января не может быть рассматриваемо отдельно от другого случая: оно так связывается, так переплетается с фактом, совершившимся в доме предварительного заключения 13 июля, что если непонятным будет смысл покушения, произведенного В. Засулич на жизнь генерал-адъютанта Трепова, то его можно уяснить только сопоставляя это покушение с теми мотивами, начало которых положено было происшествием в доме предварительного заключения. В (таком) сопоставлении, собственно говоря, не было бы ничего трудного; очень нередко разбирается не только (само) преступление, но и тот факт, который дал мотив этому преступлению. Но в настоящем деле эта связь до некоторой степени усложняется, и разъяснение ее затрудняется. В самом деле, нет сомнения, что распоряжение генерал-адъютанта Трепова было должностное распоряжение. Но должностное лицо мы теперь не судим, и генерал-адъютант Трепов является в настоящее время не в качестве подсудимого должностного лица, а в качестве свидетеля, лица, потерпевшего от преступления. Кроме того, чув-

ство приличия, которое мы не решились бы переступить в защите нашей и которое не может не внушить нам известной сдержанности относительно генерал-адъютанта Трепова как лица, потерпевшего от преступления. Я очень хорошо понимаю, что не могу касаться действий должностного лица и обсуждать их так, как они обсуждаются, когда это должностное лицо предстоит в качестве подсудимого. Но из того затруднительного положения, в котором находится защита в этом деле, можно, мне кажется, выйти следующим образом. Всякое должностное, начальствующее лицо представляется мне в виде двуликого Януса, поставленного в храме на горе: одна сторона этого Януса обращена к закону, к начальству, к суду, ими она освещается и обсуждается, обсуждение здесь полное, веское, правдивое; другая сторона обращена к нам, простым смертным, стоящим в притворе храма, под горой. На эту сторону мы смотрим, и она бывает не всегда одинаково освещена для нас. Мы к ней подходим иногда только с простым фонарем, с грошовой свечкой, с тусклой лампой, многое для нас темно, многое наводит нас на такие суждения, которые не согласуются со взглядами начальства, судя на те же действия должностного лица. Но мы живем в этих, может быть, иногда и ошибочных мнениях, на основании их мы питаем те или другие чувства к должностному лицу, порицаем его или славословим его, любим или остаемся к нему равнодушны и радуемся, если находим распоряжения вполне справедливыми. Когда действия должностного лица становятся мотивами для наших действий, за которые мы судимся и должны нести ответственность, тогда важно иметь в виду не только то, правильны или неправильны действия должностного лица с точки зрения закона, а как мы сами смотрели на них. Не суждения закона о должностном действии, а наши воззрения на него должны быть приняты как обстоятельства, обуславливающие степень нашей ответственности. Пусть эти воззрения будут и неправильны — они ведь имеют значение не для суда над должностным лицом, а для суда над нашими поступками, соображенными с теми или другими руководившими нами понятиями. Чтобы вполне судить о мотиве наших поступков, надо знать, как эти мотивы отразились в наших понятиях. Таким образом, в моем суждении о событии 13 июля не будет обсуждения действий должностного лица, а только разъяснение того, как отразилось это действие на уме и убеждениях Веры Засулич. Оставаясь в этих пределах, я, полагаю, не буду судьей действий должностного лица и затем надеюсь, что в этих пределах мне будет дана необходимая законная свобода слова и вместе с тем будет оказано снисхождение, если я с некоторой подробностью остановлюсь

на таких обстоятельствах, которые с первого взгляда могут и не казаться прямо относящимися к делу. Являясь защитником В. Засулич, по ее собственному избранию, выслушав от нее в моих беседах с ней многое, что она находила нужным передать мне, я невольно впадаю в опасение не быть полным выразителем ее мнения и упустить что-либо, что, по взгляду самой подсудимой, может иметь значение для ее дела.

Я мог бы начать прямо со случая 13 июля, но нужно прежде исследовать почву, которая обусловила связь между 13 июля и 24 января. Эта связь лежит во всем прошедшем, во всей жизни Веры Засулич. Рассмотреть эту жизнь весьма поучительно; поучительно рассмотреть ее не только для интересов настоящего дела, не только для того, чтобы определить, в какой степени виновна В. Засулич, но ее прошедшее поучительно и для извлечения из него других материалов, нужных и полезных для разрешения таких вопросов, которые выходят из пределов суда: для изучения той почвы, которая у нас нередко производит преступления и преступников. Вам сообщены уже о В. Засулич некоторые биографические данные; они не длинны, и мне придется остановиться только на некоторых из них.

Вы помните, что семнадцать лет, после окончания образования в одном из московских пансионов, после того, как она выдержала с отличием экзамен на звание домашней учительницы, она вернулась в дом матери. Старуха мать ее живет здесь, в Петербурге. В небольшой сравнительно промежуток времени семнадцатилетняя девушка имела случай познакомиться с Нечаевым и его сестрой. <...> Кто такой был Нечаев, какие его замыслы, она не знала, да тогда еще и никто не знал его в России; он считался простым студентом, который играл некоторую роль в студенческих волнениях, не представлявших ничего политического.

По просьбе Нечаева В. Засулич согласилась оказать ему некоторую, весьма обыкновенную услугу. Она раза три или четыре принимала от него письма и передавала их по адресу, ничего, конечно, не зная о содержании самих писем. Впоследствии оказалось, что Нечаев — государственный преступник, и ее совершенно случайные отношения к Нечаеву послужили основанием к привлечению в качестве подозреваемой в государственном преступлении по известному нечаевскому делу. Вы помните из рассказа В. Засулич, что двух лет тюремного заключения стоило ей это подозрение. Год она просидела в Литовском замке и год в Петропавловской крепости. Это были восемнадцатый и девятнадцатый годы ее юности.

Годы юности, по справедливости, считаются лучшими годами в жизни человека; воспоминания о них, впечатления

этих лет остаются на всю жизнь. Недавний ребенок готовился стать созревшим человеком. Жизнь представляется пока издали своей розовой, обольстительной стороной, без мрачных теней, без темных пятен. <...> Легко вообразить, как провела Засулич эти лучшие годы своей жизни, в каких забавах, в каких радостях провела она это дорогое время, какие розовые мечты волновали ее в стенах Литовского замка и казематах Петропавловской крепости. Полное отчуждение от всего, что за тюремной стеной. Два года она не видела ни матери, ни родных, ни знакомых. Изредка только через тюремное начальство доходила весть о них, что все, мол, слава Богу, здоровы. Ни работы, ни занятий. Кое-когда только книга, прошедшая через тюремную цензуру. Возможность сделать несколько шагов по комнате и полная невозможность увидеть что-либо через тюремное окно. Отсутствие воздуха, редкие прогулки, дурной сон, плохое питание. Человеческий образ видится только в тюремном стороже, приносящем обед, да в часовом, заглядывающем время от времени в дверное окно, чтобы узнать, что делает арестант. Звук открываемых и затворяемых замков, бряцание ружей сменяющихся часовых, мерные шаги караула да уныло-музыкальный звон часов Петропавловского шпица. Вместо дружбы, любви, человеческого общения — одно сознание, что справа и слева, за стеной, такие же товарищи по несчастью, такие же жертвы несчастной доли.

В эти годы зарождающихся симпатий Засулич, действительно, создала и закрепила в душе своей навеки одну симпатию — беззаветную любовь ко всякому, кто, подобно ей, принужден влачить несчастную жизнь подозреваемого в политическом преступлении. Политический арестант, кто бы он ни был, стал ей дорогим другом, товарищем юности, товарищем по воспитанию. Тюрьма была для нее *alma mater*, которая закрепила эту дружбу, это товарищество.

Два года кончились. Засулич отпустили, не найдя даже никакого основания предать ее суду. Ей сказали: «Иди» — и даже не прибавили: «И более не согрешай», потому что преступлений не нашлось, и до того не находилось их, что в продолжении двух лет она всего только два раза была спрошена и одно время серьезно думала, в продолжение многих месяцев, что она совершенно забыта. «Иди». Куда же идти? По счастью, у нее есть, куда идти, — у нее здесь, в Петербурге, старуха мать, которая с радостью встретит дочь. Мать и дочь были обрадованы свиданием; казалось, два тяжких года исчезли из памяти. Засулич была еще молода — ей всего двадцать первый год. Мать утешала ее, говорила: «Поправишься, Верочка, теперь все пройдет, все кончилось благо-

получно». Действительно, казалось, страдания излечатся, молодая жизнь одолеет и не останется следов тяжелых лет заключения.

Была весна, пошли мечты о летней дачной жизни, которая могла казаться земным раем после тюремной жизни; прошло десять дней, полных розовых мечтаний. Вдруг поздний звонок. Не друг ли запоздалый? Оказывается — не друг, но и не враг, а местный надзиратель. Объясняет (он) Засулич, что приказано ее отправить в пересыльную тюрьму. «Как в тюрьму? Вероятно, это недоразумение, я не привлечена к нечаевскому делу, не предана суду, обо мне дело прекращено судебной палатой и правительствующим Сенатом». — «Не могу знать, — отвечает надзиратель, — пожалуйста, я от начальства имею предписание взять вас». <...>

Проходит пять дней, В. Засулич сидит в пересыльной тюрьме с полной уверенностью скорого освобождения.

Возможно ли, чтобы после того, как дело было прекращено судебной властью, не нашедшей никакого основания в чем бы то ни было обвинять Засулич, она, едва двадцатилетняя девица, живущая у матери, могла быть выслана, и выслана, только что освобожденная после двухлетнего тюремного заключения.

В пересыльной тюрьме навещают ее мать, сестра; ей приносят конфеты, книжки; никто не воображает, чтоб она могла быть выслана, и никто не озабочен приготовлениями к предстоящей высылке.

На пятый день задержания ей говорят: «Пожалуйте, вас сейчас отправляют в город Крестцы». — «Как отправляют? Да у меня нет ничего для дороги. Подождите, по крайней мере, дайте мне возможность дать знать родственникам, предупредить их. Я уверена, что тут какое-нибудь недоразумение. Окажите мне снисхождение, подождите, отложите мою отправку хоть на день, на два, я дам знать родным», — «Нельзя, — говорят, — не можем по закону, требуют вас немедленно отправить».

Рассуждать было нечего. Засулич понимала, что надо покориться закону, не знала только, о каком законе тут речь. Поехала она в одном платье, в легком бурнuse; пока ехала по железной дороге, было сносно, потом поехали на почтовых, в кибитке, между двух жандармов. Был апрель, стало в легком бурнuse невыносимо холодно; жандарм снял свою шинель и одел барышно. Привезли ее в Крестцы. В Крестцах сдали ее исправнику, исправник выдал квитанцию в принятии клади и говорит Засулич: «Идите, я вас не держу, вы не арестованы. Идите и по субботам являйтесь в полицейское управление, так как вы состоите у нас под надзором».

Рассматривает Засулич свои ресурсы, с которыми ей приходится начать новую жизнь в неизвестном городе. У нее оказывается рубль денег, французская книжка да коробка шоколадных конфет.

Нашелся добрый человек, дьячок, который поместил ее в своем семействе. Найти занятие в Крестцах ей не представлялось возможности, тем более что нельзя было скрыть, что она — высланная административным порядком. Я не буду затем повторять другие подробности, которые рассказала сама Вера Засулич.

Из Крестцов ей пришлось ехать в Тверь, в Солигалич, в Харьков. Таким образом, началась ее бродячая жизнь — жизнь женщины, находящейся под надзором полиции. У нее делали обыски, призывали для разных опросов, подвергали иногда задержкам не в виде арестов и, наконец, о ней совсем забыли.

Когда от нее перестали требовать, чтобы она еженедельно являлась на просмотр к местным полицейским властям, тогда ей улыбнулась возможность контрабандой поехать в Петербург и затем с детьми своей сестры отправиться в Пензенскую губернию. Здесь она летом 1877 года прочитывает в первый раз в газете «Голос» известие о наказании Боголюбова.

Да позволено мне будет, прежде чем перейти к этому известию, сделать еще маленькую экскурсию в область розги.

Я не имею намерения, господа присяжные заседатели, представлять вашему вниманию историю розги — это завело бы меня в область слишком отдаленную, к весьма далеким страницам нашей истории, ибо история розги весьма продолжительна. Нет, не историю розги хочу я повествовать перед вами, я хочу привести лишь несколько воспоминаний о последних днях ее жизни.

Вера Ивановна Засулич принадлежит к молодому поколению. Она стала себя помнить тогда уже, когда наступили новые порядки, когда розги отошли в область преданий. Но мы, люди предшествовавшего поколения, мы еще помним то полное господство розог, которое существовало до 17 апреля 1863 года. Розга царила везде: в школе, на мирском сходе, она была неременной принадлежностью на конюшне помещика, потом в казармах, в полицейском управлении... Существовало сказание апокрифического, впрочем, свойства — что где-то русская розга была приведена в союз с английским механизмом и русское сечение совершалось по всем правилам самой утонченной европейской вежливости. Впрочем, достоверность этого сказания никто не подтверждал собственным опытом. В книгах наших уголовных, гражданских и военных законов розга испещряла все страницы. Она составляла ка-

кой-то легкий мелодический перезвон в общем громогласном гуле плети, кнута и шпицрутеннов. Но наступил великий день — день, который чтит вся Россия, — 17 апреля 1863 года, — и розга перешла в область истории. Розга, правда, не совсем, но все другие телесные наказания миновали совершенно. Розга не была совершенно уничтожена, но крайне ограничена. В то время было много опасений за полное уничтожение розги, опасений, которых не разделяло правительство, но которые волновали некоторых представителей интеллигенции. Им казалось вдруг как-то неудобным и опасным оставить без розог Россию, которая так долго вела свою историю рядом с розгой, — Россию, которая, по их глубокому убеждению, сложилась в обширную державу и достигла своего величия едва ли не благодаря розгам. Как, казалось, вдруг остаться без этого цемента, связующего общественные устои? Как будто в утешение этих мыслителей розга осталась в очень ограниченных размерах и утратила свою публичность. <...>

Когда в исторической жизни народа нарождается какое-либо преобразование, которое способно поднять дух народа, возвысить его человеческое достоинство, тогда подобное преобразование прививается и приносит свои плоды. Таким образом, и отмена телесного наказания оказала громадное влияние на поднятие в русском народе чувства человеческого достоинства. Теперь стал позорен тот солдат, который довел себя до наказания розгами, теперь смешон и считается бесчестным тот крестьянин, который допустил себя наказывать розгами.

Вот в эту-то пору, через пятнадцать лет после отмены розог, которые, впрочем, давно уже были отменены для лиц привилегированного сословия, над политическим осужденным арестантом было совершено позорное сечение. Обстоятельство это не могло укрыться от внимания общества: о нем заговорили в Петербурге, о нем вскоре появляются газетные известия. И вот эти-то газетные известия дали первый толчок мысли В. Засулич. Короткое газетное известие о наказании Боголюбова розгами не могло не произвести на Засулич подавляющего впечатления. Оно производило такое впечатление на всякого, кому знакомо чувство чести и человеческого достоинства.

Человек, по своему рождению, воспитанию и образованию чуждый розги; человек, глубоко чувствующий и понимающий все ее позорное и унижительное значение; человек, который по своему образу мыслей, по своим убеждениям и чувствам не мог бы без сердечного содрогания видеть и слышать исполнение позорной экзекуции над другими, — человек сам

должен был перенести на собственной коже всеподавляющее действие унизительного наказания.

Какое, думала Засулич, мучительное истязание, какое презрительное поругание над всем, что составляет самое существенное достоинство развитого человека, и не только развитого, но и всякого, кому не чуждо чувство чести и человеческого достоинства.

Не с точки зрения формальностей закона могла обсуждать В. Засулич наказание, произведенное над Боголюбовым, но и для нее могло быть ясным из самих газетных известий, что Боголюбов хотя и был осужден на каторжные работы, но еще не поступил в разряд ссыльнокаторжных, что над ним не было еще исполнено все то, что, по фикции закона, отнимает от человека честь, разрывает всякую связь его с прошедшим и низводит его на положение лишенного всех прав. Боголюбов содержался еще в доме предварительного заключения, он жил среди прежней обстановки, среди людей, которые напоминали ему его прежнее положение.

Нет, не с формальной точки зрения обсуждала В. Засулич наказание Боголюбова; была другая точка зрения, менее специальная, более сердечная, более человеческая, которая никак не позволяла примириться с разумностью и справедливостью произведенного над Боголюбовым наказания.

Боголюбов был осужден за государственное преступление. Он принадлежал к группе молодых, очень молодых людей, судившихся за преступную манифестацию на площади Казанского собора. Весь Петербург знает об этой манифестации, и все с сожалением отнеслись тогда к этим молодым людям, так опрометчиво заявившим себя политическими преступниками, к этим так непроизводительно погубленным молодым силам. Суд строго отнесся к судимому деянию. Покушение явилось в глазах суда весьма опасным посягательством на государственный порядок, и закон был применен с подобающей строгостью. Но строгость приговора за преступление не исключала возможности видеть, что покушение молодых людей было прискорбным заблуждением и не имело в своем основании низких расчетов, своекорыстных побуждений, преступных намерений, что, напротив, в основании его лежало доброе увлечение, с которым не совладал молодой разум, живой характер, который дал им направиться на ложный путь, приведший к прискорбным последствиям.

Характерные особенности нравственной стороны государственных преступлений не могут не обращать на себя внимания. Физиономия государственных преступлений нередко весьма изменчива. То, что вчера считалось государственным преступлением, сегодня или завтра становится высокочтимым

подвигом гражданской доблести. Государственное преступление нередко — только одновременно высказанное учение преждевременно провозглашенного преобразования, проповедь того, что еще недостаточно созрело и для чего еще не наступило время.

Все это, несмотря на тяжкую кару закона, постигающую государственного преступника, не позволяет видеть в нем презренного, отвергнутого члена общества, не позволяет заглушить симпатий ко всему тому высокому, честному, дорогому, разумному, что остается в нем вне сферы его преступного деяния.

...Боголюбов судебным приговором был лишен всех прав состояния и присужден к каторге. Лишение всех прав и каторга — одно из самых тяжелых наказаний нашего законодательства. Лишение всех прав и каторга одинаково могут постигнуть самые разнообразные тяжкие преступления, несмотря на все различие их нравственной подкладки. В этом нет еще ничего несправедливого. Наказание, насколько оно касается сферы права, изменения общественного положения, лишения свободы, принудительных работ, может без особенно вопиющей неравномерности, постигать преступника самого разнообразного характера. Разбойник, поджигатель, распространитель ереси, наконец, государственный преступник могут быть, без явной несправедливости, уравнены постигающим их наказанием.

Но есть сфера, которая не поддается праву, куда бессилён проникнуть нивелирующий закон, где всякая законная уравнительность была бы величайшей несправедливостью. Я разумею сферу умственного и нравственного развития, сферу убеждений, чувствований, вкусов, сферу всего того, что составляет умственное и нравственное достоинство человека.

Высокоразвитый, полный честных нравственных принципов государственный преступник и безнравственный, презренный разбойник или вор могут одинаково, стена об стену, тянуть долгие годы заключения, могут одинаково нести тяжкий труд рудниковых работ, но никакой закон, никакое положение, созданное для них наказанием, не в состоянии уравнивать их во всем том, что составляет умственную и нравственную сферу человека. Что для одного составляет ничтожное лишение, легкое взыскание, то для другого может составить тяжкую нравственную пытку, невыносимое бесчеловечное истязание.

Закон карающий может отнять внешнюю честь, все внешние отличия, с ней сопряженные, но истребить в человеке чувство моральной чести, нравственного достоинства судебным приговором, изменить нравственное содержание человека,

лишить его всего того, что составляет неотъемлемое достоинство его развития, никакой закон не может. И если закон не может предусмотреть все нравственные, индивидуальные различия преступника, которые обуславливаются их прошлым, то является на помощь общая, присущая человеку, нравственная справедливость, которая должна подсказать, что применимо к одному и что было бы высшей несправедливостью в применении к другому.

Если с этой точки зрения общей справедливости смотреть на наказание, примененное к Боголюбому, то понятным станет то возбуждающее, тяжелое чувство негодования, которое овладевало всяким неспособным безучастно относиться к нравственному истязанию над ближним.

С чувством глубокого, непримиримого оскорбления за нравственное достоинство человека отнеслась Засулич к известию о позорном наказании Боголюбых.

Что был для нее Боголюбов? Он не был для нее родственником, другом, он не был ее знакомым, она никогда не видела и не знала его. Но разве для того, чтобы возмутиться видом нравственно раздавленного человека, чтобы прийти в негодование от позорного глумления над беззащитным, нужно быть сестрой, женой, любовницей?

Для Засулич Боголюбов был политический арестант, и в этом слове было для нее все: политический арестант не был для Засулич отвлеченное представление, вычитываемое из книг, знакомое по слухам, по судебным процессам, — представление, возбуждающее в честной душе чувство сожаления, сострадания, сердечной симпатии. Политический арестант был для Засулич — она сама, ее горькое прошлое, ее собственная история: история безвозвратно погубленных лет, лучших и дорогих в жизни каждого человека, которого не постигает тяжкая доля, перенесенная Засулич. Политический арестант был для Засулич — горькое воспоминание ее собственных страданий, ее тяжкого нервного возбуждения, постоянной тревоги, томительной неизвестности, вечной думы над вопросами: что я сделала? что будет со мной? когда же наступит конец? Политический арестант был ее собственное сердце, и всякое грубое прикосновение к этому сердцу болезненно отзывалось на ее возбужденной натуре.

В провинциальной глуши газетные известия действовали на Засулич еще сильнее, чем они могли бы действовать здесь, в столице. Там она была одна. Ей не с кем было разделить своих сомнений, ей не от кого было услышать слово участия по занимавшему ее вопросу. Нет, думала Засулич, вероятно, известие неверное, по меньшей мере оно преувеличено. Неужели теперь, и именно теперь, думала она, возможно такое

явление? Неужели двадцать лет прогресса, смягчения нравов, человеколюбивого отношения к арестованным, улучшения судебных и тюремных порядков, ограничения личного произвола, неужели двадцать лет поднятия личности и достоинства человека вычеркнуты и забыты бесследно?

Неужели к тяжкому приговору, постигшему Боголюбова, можно было прибавлять еще более тяжкое презрение к человеческой личности, забвение в нем всего прошлого, всего, что дали ему воспитание и развитие? Неужели нужно было еще наложить несмыаемый позор на эту, положим, преступную, но, во всяком случае, не презренную личность? Нет ничего удивительного, продолжала думать Засулич, что Боголюбов в состоянии нервного возбуждения, столь понятного в одиночно заключенном арестанте, мог, не владея собой, позволить себе то или другое нарушение тюремных правил, но на случай таких нарушений, если и признавать их вменяемыми человеку в исключительном состоянии его духа, существуют у тюремного начальства другие меры, ничего общего не имеющие с наказанием розгами. Да и какой же поступок приписывают Боголюбову газетные известия? Неснятие шапки при вторичной встрече с почетным посетителем. Нет, это невероятно, успокаивалась Засулич; подождем, будет опровержение, будет разъяснение происшествия; по всей вероятности, оно окажется не таким, как представлено.

Но не было ни разъяснений, ни опровержений, ни гласа, ни послушания. Тишина молчания не располагала к тишине взволнованных чувств. И снова возникал в женской экзальтированной голове образ Боголюбова, подвергнутого позорному наказанию, и раскаленное воображение старалось угадать, перечувствовать все то, что мог перечувствовать несчастный. Рисовалась возмущающая душу картина, но то была еще только картина собственного воображения, не проверенная никакими данными, не пополненная слухами, рассказами очевидцев, свидетелей наказания; вскоре явилось и то и другое.

В сентябре Засулич была в Петербурге; здесь уже она могла проверить занимавшее ее мысль происшествие по рассказам очевидцев или лиц, слышавших непосредственно от очевидцев. Рассказы, по содержанию своему, неспособны были усмирить возмущенное чувство. Газетное известие оказывалось непреувеличенным; напротив, оно дополнялось такими подробностями, которые заставляли содрогаться, которые приводили в негодование. Рассказывалось и подтверждалось, что Боголюбов не имел намерения оказать неуважение, неповиновение, что с его стороны было только недоразумение и уклонение от внушения, которое ему угрожало, что попытка

сбить с Боголюбова шапку вызвала крик со стороны смотревших на происшествие арестантов независимо от какого-либо возмущения их к тому Боголюбовым. Рассказывались дальше возмутительные подробности приготовления исполнения наказания. Во двор, на который из окон камер неслись крики арестантов, взволнованных происшествием с Боголюбовым, является смотритель тюрьмы и, чтобы «успокоить» волнение, возвещает о предстоящем наказании Боголюбова розгами, не успокоив никого этим в действительности, но несомненно доказав, что он, смотритель, обладает и практическим тактом, и пониманием человеческого сердца. Перед окнами женских арестантских камер, на виду испуганных чем-то необычайным, происходящим в тюрьме, женщин, вяжутся пуки розог, как будто драть предстояло целую роту; разминаются руки, делаются репетиции предстоящей экзекуции, и в конце концов нервное волнение арестантов возбуждается до такой степени, что ликторы *in spe*¹ считают нужным убраться в сарай и оттуда выносят пуки розог уже спрятанными под шинелями.

Теперь, по отрывочным рассказам, по догадкам, по намекам, нетрудно было вообразить и настоящую картину экзекуции. Восставала эта бледная, испуганная фигура Боголюбова, не ведающая, что он сделал, что с ним хотят творить; восставал в мыслях болезненный его образ. Вот он, приведенный на место экзекуции и пораженный известием о том позоре, который ему готовится; вот он, полный негодования и думающий, что эта сила негодования даст ему силы Самсона, чтобы устоять в борьбе с массой ликторов, исполнителей наказания; вот он, падающий под массой пудов человеческих тел, насевших ему на плечи, распростерый на полу, позорно обнаженный, несколькими парами рук, как железом, прикованный, лишенный всякой возможности сопротивляться, и над всей этой картиной мерный свист березовых прутьев да также мерное исчисление ударов благородным распорядителем экзекуции. Все замерло в тревожном ожидании стога; этот стон раздался — то не был стон физической боли — не на нее рассчитывали; то был мучительный стон удушенного, униженного, раздавленного человеческого достоинства. Священнодействие совершилось, позорная жертва была принесена!.. (Аплодисменты, громкие крики: браво!)

Председатель. Поведение публики должно выражаться в уважении к суду. Суд не театр, одобрение или неодобрение здесь воспрещается. Если это повторится вновь, я вынужден буду очистить залу.

П. А. Александров. Сведения, полученные Засулич, были

¹ *In spe* — в надежде (лат.).

подробны, обстоятельны, достоверны. Теперь тяжелые сомнения сменились еще более тяжелой известностью. Роковой вопрос восстал со всей его беспокойной настойчивостью. Кто же вступится за поруганную честь беспомощного каторжника? Кто смает, кто и как искупит тот позор, который навсегда неутешимой болью будет напоминать о себе несчастному? С твердостью перенесет осужденный суровость каторги, примирится он с этим возмездием за его преступление, быть может, сознает его справедливость, быть может, наступит минута, когда милосердие с высоты трона и для него откроется, когда скажут ему: «Ты искупил свою вину, войдя опять в то общество, из которого ты удален, войди и будь снова гражданином». Но кто и как изгладит в его сердце воспоминание о позоре, о поруганном достоинстве; кто и как смает то пятно, которое на всю жизнь останется неизгладимым в его воспоминании? Наконец, где же гарантия против повторения подобного случая? Много товарищей по несчастью у Боголюбова — неужели и они должны существовать под страхом всегдашней возможности испытать то, что пришлось перенести Боголюбову? Если юристы могли создать лишение прав, то отчего психологи, моралисты не явятся со средствами отнять у лишенного прав его нравственную физиономию, его человеческую натуру, его душевное состояние; отчего же не укажут средств низвести каторжника на степень скота, чувствующего физическую боль и чуждого душевных страданий?

Так думала, так не столько думала, как инстинктивно чувствовала В. Засулич. Я говорю ее мыслями, я говорю почти ее словами. Быть может, найдется много экзальтированного, болезненно преувеличенного в ее думах, волновавших ее вопросах, в ее недоумении. Быть может, законник нашелся бы в этих недоразумениях, подведя приличную статью закона, прямо оправдывающую случай с Боголюбовым: у нас ли не найти статьи закона, коли нужно ее найти? Быть может, опытный блюститель порядка доказал бы, что иначе поступить, как было поступлено с Боголюбовым, и невозможно, что иначе и порядка существовать не может... Быть может, не блюститель порядка, а просто практический человек сказал бы, с полной уверенностью в разумности своего слова: «Бросьте вы, Вера Ивановна, это самое дело: не вас ведь выпороли».

Но и законник, и блюститель порядка, и практический человек не разрешили бы взволновавшего Засулич сомнения, не успокоили бы ее душевной тревоги. Не надо забывать, что Засулич — натура экзальтированная, нервная, болезненная, впечатлительная; не надо забывать, что павшее на нее, чуть не ребенка в то время, подозрение в политическом преступлении, подозрение, не оправдавшееся, но стоившее ей двухлет-

него одиночного заключения, и затем бесприютное скитание надломил ее натуру, навсегда оставив воспоминание о страданиях политического арестанта, толкнули ее жизнь на тот путь и в ту среду, где много поводов к страданию, душевному волнению, но где мало места для успокоения на соображениях практической пошлости.

В беседах с друзьями и знакомыми, наедине, днем и ночью, среди занятий и без дела, Засулич не могла оторваться от мысли о Боголюбове, и ниоткуда сочувственной помощи, ниоткуда удовлетворения души, взволнованной вопросами: кто вступится за опозоренного Боголюбова, кто вступится за судьбу других несчастных, находящихся в положении Боголюбова? Засулич ждала этого заступничества от печати, она ждала оттуда поднятия, возбуждения так взволновавшего ее вопроса. Памятуя о пределах, молила печать. Ждала Засулич помощи от силы общественного мнения. Из тиши кабинетов, из интимного круга приятельских бесед не выползло общественное мнение. Она ждала, наконец, слова от правосудия. Правосудие... Но о нем ничего не было слышно.

И ожидания оставались ожиданиями. А мысли тяжелые и тревоги душевные не унимались. И снова и снова, и опять и опять возникал образ Боголюбова и вся его обстановка.

Не звуки цепей смущали душу, но мрачные своды мертвого дома леденили воображение: рубцы — позорные рубцы — резали сердце, и замогильный голос заживо погребенного звучал:

Что ж молчит в вас, братья, злоба,
Что ж любовь молчит?

И вдруг внезапная мысль, как молния сверкнувшая в уме Засулич: «А я сама! Затихло, замолкло все о Боголюбове, нужен крик, в моей груди достанет воздуха издать этот крик, я издам его и заставлю его услышать!» Решимость эта была ответом на эту мысль в ту же минуту. Теперь можно было рассуждать о времени, и способах исполнения, но само дело, выполненное 24 января, было бесповоротно решено.

Между блеснувшей и зародившейся мыслью и исполнением ее протекли дни и даже недели; это дало обвинению право признать вмененное Засулич намерение и действие заранее обдуманными.

Если эту обдуманность относить к приготовлению средств, к выбору способов и времени исполнения, то, конечно, взгляд обвинения нельзя не признать справедливым, но в существе своем, в своей основе, намерение Засулич не было и не могло быть намерением хладнокровно обдуманным, как ни велико по времени расстояние между решимостью и исполнением. Решимость была и осталась внезапной, вследствие внезапной

мысли, павшей на благоприятно для нее подготовленную почву, овладевшей всецело и всевластно экзальтированной натурой. Намерения, подобные намерению Засулич, возникающие в душе возбужденной, аффектированной, не могут быть обдумываемы, обсуждаемы. Мысль сразу овладевает человеком, не его обсуждению она подчиняется, а подчиняет его себе и влечет за собой. Как бы далеко ни отстояло исполнение мысли, овладевшей душой, аффект не переходит в холодное размышление и остается аффектом. Мысль не проверяется, не обсуживается, ей служат, ей рабски повинуются, за ней следуют. Нет критического отношения, имеет место только безусловное поклонение. Тут обсуживаются и обдумываются только подробности исполнения, но это не касается сущности решения. Следует ли или не следует выполнить мысль — об этом не рассуждают, как бы долго ни думали над средствами и способами исполнения. Страстное состояние духа, в котором зарождается и воспринимается мысль, не допускает подобного обсуждения; так вдохновенная мысль поэта остается вдохновенной, не выдуманной, хотя она и может задумываться над выбором слов и рифм для ее воплощения.

Мысль о преступлении, которое стало бы ярким и громким указанием на расправу с Боголюбовым, всецело завладела возбужденным умом Засулич. Иначе и быть не могло; эта мысль как нельзя более соответствовала тем потребностям, отвечала на те задачи, которые волновали ее. Руководящим побуждением для Засулич обвинение ставит месть. Местью и сама Засулич объяснила свой поступок, но для меня представляется невозможным объяснить вполне дело Засулич побуждением мести, по крайней мере мести, понимаемой в ограниченном смысле этого слова. Мне кажется, что слово «месть» употреблено в показании Засулич, а затем и в обвинительном акте как термин наиболее простой, короткий и несколько подходящий к обозначению побуждения, импульса, руководившего Засулич.

Но месть, одна месть была бы неверным мерилom для обсуждения внутренней стороны поступка Засулич. Месть обыкновенно руководит личными счетами с отомщаемым за себя или близких. Но никаких личных, исключительно ее интересов не только не было для Засулич в происшествии с Боголюбковым, но и сам Боголюбов не был ей близким, знакомым человеком.

Месть стремится нанести возможно больше зла противнику; Засулич, стрелявшая в генерал-адъютанта Трепова, сознается, что для нее безразличны были те или другие последствия выстрела. Наконец, месть старается достигнуть удовлетворения возможно дешевой ценой, месть действует скрытно с воз-

можно меньшими жертвованиями. В поступке Засулич, как бы ни обсуждать его, нельзя не видеть самого беззаветного, но и самого нерассчетливого самопожертвования. Так не жертвуют собой из-за одной узкой, эгоистической мести. Конечно, не чувство доброго расположения к генерал-адъютанту Трепову питала Засулич; конечно, у нее было известного рода недовольство против него, и это недовольство имело место в побуждениях Засулич, но ее месть всего менее окрашивалась, видоизменялась, осложнялась другими побуждениями.

Вопрос справедливости и легальности наказания Боголюбова казался Засулич не разрешенным, а погребенным навсегда; надо было воскресить его и поставить твердо и громко. Униженное и оскорбленное человеческое достоинство Боголюбова казалось невозстановленным, несмытым, неоправданным, чувство мести — неудовлетворенным. Возможность повторения в будущем случаев позорного наказания над политическими преступниками и арестантами казалась непредупрежденной.

Всем этим потребностям, казалось Засулич, должно было удовлетворить такое преступление, которое с полной достоверностью можно было бы поставить в связь со случаем наказания Боголюбова и показать, что это преступление явилось как последствие случая 13 июля, как протест против поругания над человеческим достоинством политического преступления. Вступить за идею нравственной чести и достоинства политического осужденного, провозгласить эту идею достаточно громко и призвать к ее признанию и уверению — вот те побуждения, которые руководили Засулич, и мысль о преступлении, которое было бы поставлено в связь с наказанием Боголюбова, казалось, может дать удовлетворение всем этим побуждениям. Засулич решила искать суда над ее собственным преступлением, чтобы поднять и вызвать обсуждение забытого случая о наказании Боголюбова.

Когда я совершу преступление, думала Засулич, тогда замолкнувший вопрос о наказании Боголюбова восстанет; мое преступление вызовет гласный процесс, и Россия, в лице своих представителей, будет поставлена в необходимость произнести приговор не обо мне одной, а произнести его, по важности случая, в виду Европы, той Европы, которая до сих пор любит называть нас варварским государством, в котором атрибутом правительства служит кнут.

Этими обсуждениями и определились намерения Засулич. Совершенно достоверным поэтому представляется то объяснение Засулич, которое притом же дано было ею при самом первоначальном ее допросе и было затем неизменно поддерживаемо, что для нее было безразлично: будет ли последст-

вием произведенного ею выстрела смерть или только рана. Прибавлю от себя, что для ее цели было бы одинаково безразлично и то, если бы выстрел, очевидно направленный в известное лицо, и совсем не произвел никакого вредного действия, если бы последовала осечка или промах. Не жизнь, не физические страдания генерал-адъютанта Трепова нужны были для Засулич, а появление ее самой на скамье подсудимых и вместе с ней появление вопроса о случае с Боголюбовым.

Было безразлично, совместно существовало намерение убить или ранить; намерению убить не отдавала Засулич никакого особенного преимущества. В этом направлении она и действовала. Ею не было предпринято ничего, чтобы выстрел имел последствием смерть. О более опасном направлении выстрела она не заботилась. А, конечно, находясь в том расстоянии от генерал-адъютанта Трепова, в котором она находилась, она действительно могла бы выстрелить совершенно в упор и выбрать самое опасное направление. Вынув из кармана револьвер, она направила его так, как пришлось: не выбирая, не рассчитывая, не поднимая даже руки. Она стреляла, правда, в очень близком расстоянии, это делало выстрел более опасным, но иначе она и не могла действовать. Генерал-адъютант Трепов был окружен своей свитой, и выстрел на более далеком расстоянии мог грозить другим, которым Засулич не желала вредить. Стрелять совсем в сторону было совсем дело неподходящее: это сводило бы драму, которая нужна была Засулич, на степень комедии.

На вопрос о том, имела ли Засулич намерение причинить смерть или имела намерение причинить только рану, прокурор остановился с особенной подробностью. Я внимательно выслушал те доводы, которые он высказал, но я согласиться с ними не могу, и они все падают перед соображением о той цели, которую имела В. Засулич. Ведь не отвергают же того, что именно оглашение дела с Боголюбовым было для Веры Засулич побудительной причиной преступления. При такой точке зрения мы можем довольно безразлично относиться к тем обстоятельствам, которые обратили внимание господина прокурора, например то, что револьвер был выбран из самых опасных. Я не думаю, чтобы тут имелась в виду наибольшая опасность; выбирался такой револьвер, какой мог удобнее войти в карман; большой нельзя было бы взять, потому что он высовывался бы из кармана, — необходимо было взять револьвер меньшей величины. Как он действовал — более опасно или менее опасно, какие последствия от выстрела могли произойти — это для Засулич было совершенно безразлично. Мена револьверов произведена была без ведения За-

сулич. Но если даже и предполагать, как признает возможным предполагать прокурор, что первый револьвер принадлежит Засулич, то опять-таки перемена револьвера объясняется очень просто: прежний револьвер был таких размеров, что не мог поместиться в карман.

Я не могу согласиться и с тем весьма остроумным предположением, что Засулич не стреляла в грудь и в голову генерал-адъютанта Трепова, находясь к нему *en face*¹, и потому только, что чувствовала некоторое смущение, и что только после того, как несколько оправилась, она нашла в себе достаточно силы, чтобы произвести выстрел. Я думаю, что она просто не стреляла в грудь генерал-адъютанта Трепова потому, что она не заботилась о более опасном выстреле; она стреляет тогда, когда ей уже приходится уходить, когда ждать более нельзя.

Раздался выстрел... Не продолжая более дела, которое совершала, довольствуясь вполне тем, что достигнуто, Засулич сама бросила револьвер, прежде чем успели схватить ее, и, отойдя в сторону, без борьбы и сопротивления отдалась во власть набросившегося на нее майора Корнеева и осталась не задушенной им только благодаря помощи других окружающих. Ее песня была теперь спета, ее мысль исполнена, ее дело совершено.

Я должен остановиться на прочтенном здесь показании генерал-адъютанта Трепова. В этом показании сказано, что после первого выстрела Засулич, как заметил генерал Трепов, хотела произвести второй выстрел и что началась борьба: у нее отнимали револьвер. Это совершенно ошибочное показание генерал-адъютанта Трепова объясняется тем весьма понятным взволнованным состоянием, в котором он находился. Все свидетели, хотя так же взволнованные происшествием, но не до такой степени, как генерал-адъютант Трепов показали, что Засулич совершенно добровольно, без всякой борьбы, бросила сама револьвер и не показывала намерения продолжать выстрелы. Если же и представилось генерал-адъютанту Трепову что-либо похожее на борьбу, то это была та борьба, которую вел с Засулич Корнеев и вели прочие свидетели, которые должны были отрывать Корнеева, вцепившегося в Засулич.

Я думаю, что ввиду двойственности намерения Засулич, ввиду того, что для ее намерений было безразлично последствие большей или меньшей важности, что ею ничего не было предпринято для достижения именно большего результата, что смерть только допускалась, а не была исключительным

¹ *en face* — прямо перед (ним) — франц.

стремлением Засулич, — нет оснований произведенный ею выстрел определять покушением на убийство. Ее поступок должен бы был быть определен по тому последствию, которое произведено в связи с тем особым намерением, которое имело в виду это последствие.

Намерение было: или причинить смерть, или нанести рану; не последовало смерти, но нанесена рана. Нет основания в этой нанесенной ране видеть осуществление намерения причинить смерть, уравнивать это нанесение раны покушению на убийство, а вполне было бы справедливо считать не более как действительным нанесением раны и осуществлением намерения нанести такую рану. Таким образом, отбрасывая покушение на убийство как неосуществившееся, следовало бы остановиться на действительно доказанном результате, соответствовавшем особому условному намерению — нанесению раны.

Если Засулич должна понести ответственность за свой поступок, то эта ответственность была бы справедливее за зло, действительно последовавшее, а не такое, которое не было предположено как необходимый и исключительный результат, как прямое и безусловное стремление, а только допускалось.

Впрочем, все это — только мое желание представить вам соображения и посильную помощь к разрешению предстоящих вопросов; для личных же чувств и желаний Засулич безразлично, как бы ни разрешился вопрос о юридическом характере ее действий, для нее безразлично быть похороненной по той или другой статье закона. Когда она переступила порог дома градоначальника с решительным намерением разрешить мучившую ее мысль, она знала и понимала, что она несет в жертву все — свою свободу, остатки своей разбитой жизни, все то немногое, что дала ей на долю мачеха-судьба.

И не торговаться с представителями общественной совести за то или другое уменьшение своей вины явилась она сегодня перед вами, господа присяжные заседатели.

Она была и осталась беззаветной рабой той идеи, во имя которой подняла она кровавое оружие.

Она пришла сложить перед вами все бремя наболевшей души, открыть перед вами скорбный лист своей жизни, честно и откровенно изложить все то, что она пережила, передумала, перечувствовала, что двинуло ее на преступление, чего она ждала от него.

Господа присяжные заседатели! Не в первый раз на этой скамье преступлений и тяжелых душевных страданий является перед судом общественной совести женщина по обвинению в кровавом преступлении.

Были здесь женщины, смертью мстившие своим соблазна-телям; были женщины, обагрившие руки в крови изменивших им любимых людей или своих более счастливых соперниц. Эти женщины выходили отсюда оправданными. То был суд правый, отклик суда божественного, который взирает не на внешнюю только сторону деяний, но и на внутренний их смысл, на действительную преступность человека. Те женщины, свершая кровавую расправу, боролись и мстили за себя.

В первый раз является здесь женщина, для которой в преступлении не было личных интересов, личной мести, — женщина, которая со своим преступлением связала борьбу за идею во имя того, кто был ей только собратом по несчастью всей ее молодой жизни. Если этот мотив поступка окажется менее тяжелым на весах общественной правды, если для блага общего, для торжества закона, для общественной безопасности нужно призвать кару законную, тогда — да свершится ваше карающее правосудие! Не задумывайтесь!

Немного страданий может прибавить ваш приговор для этой надломленной, разбитой жизни. Без упрека, без горькой жалобы, без обиды примет она от вас решение ваше и утешится тем, что, может быть, ее страдания, ее жертва предотвратит возможность повторения случая, вызвавшего ее поступок. Как бы мрачно ни смотреть на этот поступок, в самих мотивах его нельзя не видеть честного и благородного порыва.

Да, она может выйти отсюда осужденной, но она не выйдет опозоренной, и остается только пожелать, чтобы не повторялись причины, производящие подобные преступления, порождающие подобных преступников.

1878

Обвинительная речь А. Ф. Кони по делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем

Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вашему рассмотрению подлежат самые разнообразные по своей внутренней обстановке дела; между ними часто встречаются дела, где свидетельские показания дышат таким здравым смыслом, проникнуты такою искренностью и правдивостью и нередко отличаются такою образностью, что задача судебной власти становится очень легка. Остается сгруппировать все эти свидетельские показания, и тогда они сами собою составят картину, которая в вашем уме создаст известное определенное

представление о деле. Но бывают дела другого рода, где свидетельские показания имеют совершенно иной характер, где они сбивчивы, неясны, туманны, где свидетели о многом умалчивают, многое боятся сказать, являя перед вами пример уклончивого недоговаривания и далеко не полной искренности. Я не ошибусь, сказав, что настоящее дело принадлежит к последнему разряду, но не ошибусь также, прибавив, что это не должно останавливать вас, судей, в строго беспристрастном и особенно внимательном отношении к каждой подробности в нем. Если в нем много наносных элементов, если оно несколько затемнено неискренностью и отсутствием полной ясности в показаниях свидетелей, если в нем представляются некоторые противоречия, то тем выше задача обнаружить истину, тем более усилий ума, совести и внимания следует употребить для узнания правды. Задача становится труднее, но не делается неразрешимой.

Я не стану напоминать вам обстоятельства настоящего дела; они слишком несложны для того, чтобы повторять их в подробности. Мы знаем, что молодой банщик женился, поколотил студента и был посажен под арест. На другой день после этого нашли его жену в речке Ждановке. Проницательный помощник пристава усмотрел в смерти ее самоубийство с горя по муже, и тело было предано земле, а дело воле божьей. Этим, казалось бы, все и должно было кончиться, но в околотке пошел говор об утопленнице. Говор этот группировался около Аграфены Суриной, она была его узлом, так как она будто бы проговорила, что Лукерья не утопилась, а утоплена мужем. Поэтому показание ее имеет главное и существенное в деле значение. Я готов сказать, что имеет оно, к сожалению, такое значение, потому что было бы странно скрывать от себя и недостойно умалчивать перед вами, что личность ее не производит симпатичного впечатления и что даже взятая вне обстоятельств этого дела, сама по себе, она едва ли привлекла бы к себе наше сочувствие. Но я думаю, что это свойство ее личности несколько не изменяет существа ее показания. Если мы на время забудем о том, как она показывает, не договаривая, умалчивая, трусая, или скороговоркою, в неопределенных выражениях высказывая то, что она считает необходимым рассказать, то мы найдем, что из показания ее можно извлечь нечто существенное, в чем должна заключаться своя доля истины. Притом показание ее имеет особое значение в деле: им завершаются все предшествовавшие гибели Лукерьи события, им объясняются и все последующие, оно есть, наконец, единственное показание очевидца. Прежде всего возникает вопрос: достоверно ли оно? Если мы будем определять достоверность показания тем, как

человек говорит, как он держит себя на суде, то очень часто примем показания вполне достоверные за ложные и, наоборот, примем оболочку показания за его сущность, за его сердцевину. Поэтому надо оценивать показание по его внутреннему достоинству. Если оно дано непринужденно, без постороннего давления, если оно дано без всякого стремления к нанесению вреда другому и если затем оно подкрепляется обстоятельствами дела и бытовой житейской обстановкой тех лиц, о которых идет речь, то оно должно быть признано показанием справедливым. Могут быть неверны детали, архитектурные украшения, мы их отбросим, но тем не менее останется основная масса, тот камень, фундамент, на котором зиждутся эти ненужные, неправильные подробности.

Существует ли первое условие в показании Аграфены Суриной? Вы знаете, что она сама первая проговорились, по первому толчку, данному Дарьей Гавриловой, когда та спросила: «Не ты ли это с Егором утопила Лукерью?» Самое поведение ее при ответе Дарье Гавриловой и подтверждение этого ответа при следствии исключает возможность чего-либо насильственного или вынужденного. Она сделала, — волею или неволею, об этом судить трудно, — свидетельницею важного и мрачного события, она разделила вместе с Егором ужасную тайну, но как женщина нервная, впечатлительная, живая, оставшись одна, она стала мучиться, как все люди, у которых на душе тяготеет какая-нибудь тайна, что-нибудь тяжелое, чего нельзя высказать. Она должна была терзаться неизвестностью, колебаться между мыслью, что Лукерья, может быть, осталась жива, и гнетущим сознанием, что она умерщвлена, и поэтому-то она стремилась к тому, чтобы узнать, что случилось с Лукерьей. Когда все вокруг было спокойно, никто еще не знал об утоплении, она волнуется как душевнобольная, работая в прачечной, спрашивает поминутно, не пришла ли Лукерья, не видали ли утопленницы. Бессознательно почти, под тяжким гнетом давящей мысли, она сама себя выдает. Затем, когда пришло известие об утоплении, когда участь, постигшая Лукерью, определилась, когда стало ясно, что она не придет никого изобличать, бремя на время свалилось с сердца и Аграфена успокоилась. Затем опять тяжелое воспоминание и голос совести начинают ей рисовать картину, которой она была свидетельницей, и на первый вопрос Дарьи Гавриловой она почти с гордостью высказывает все, что знает. Итак, относительно того, что показание Суриной дано без принуждения, не может быть сомнения.

Обращаясь ко второму условию: может ли показание это иметь свою исключительную целью коварное желание набросить преступную тень на Егора, погубить его? Такая цель

может быть только объяснена страшною ненавистью, желанием погубить во что бы то ни стало подсудимого, но в каких же обстоятельствах дела найдем мы эту ненависть? Говорят, что она была на него зла за то, что он женился на другой; это совершенно понятно, но она взяла за это с него деньги; положим, что, даже и взяв деньги, она была недовольна им, но между неудовольствием и смертельною ненавистью целая пропасть. Все последующие браку обстоятельства были таковы, что он, напротив, должен был сделаться ей особенно дорог и мил. Правда, он променял ее, с которою жил два года, на девушку, с которой перед тем встречался лишь несколько раз, и это должно было задеть ее самолюбие, но через неделю или, во всяком случае, очень скоро после свадьбы, он опять у ней, жалуется ей на жену, говорит, что снова любит ее, тоскует по ней. Да ведь это для женщины, которая продолжает любить, — а свидетели показали, что она очень любила его и переносила его крутое обращение два года, — величайшая победа! Человек, который ее кинул, приходит с повинною головою, как блудный сын, просит ее любви, говорит, что та, другая, не стоит его привязанности, что она, Аграфена, дороже, краше, милее и лучше для него... Это могло только усилить прежнюю любовь, но не обращать ее в ненависть. Зачем ей желать погубить Егора в такую минуту, когда жены нет, когда препятствие к долгой связи и даже к браку устранено? Напротив, теперь-то ей и любить его, когда он всецело ей принадлежит, когда ей не надо нарушать «их закон», а между тем она обвиняет его, повторяет это обвинение здесь, на суде. Итак, с этой точки зрения, показание это не может быть заподозрено.

Затем, соответствует ли оно сколько-нибудь обстоятельствам дела, подтверждается ли бытовую обстановкою действующих лиц? Если да, то как бы Аграфена Сурина ни была несимпатична, мы можем ей поверить, потому что другие, совершенно посторонние лица, оскорбленные ее прежним поведением, не свидетельствуя в пользу ее личности, свидетельствуют, однако, в пользу правдивости ее настоящего показания. Прежде всего свидетельница, драгоценная по простоте и грубой искренности своего показания, — сестра покойной Лукерьи. Она рисует подробно отношения Емельянова к жене и говорит, что, когда Емельянов посватался, она советовала сестре не выходить за него замуж, но он поклялся, что бросит любовницу, и она, убедившись этою клятвою, посоветовала сестре идти за Емельянова. Первое время они живут счастливо, мирно и тихо, но затем начинается связь Емельянова с Суриной. Подсудимый отрицает существование этой связи, но о ней говорит целый ряд свидетелей. Мы слышали

показания двух девиц, ходивших к гостям по приглашению Егора, которые видели, как он, в половине ноября, целовался на улице, и не таясь, с Аграфеною. Мы знаем из тех же показаний, что Аграфена бегала к Егору, что он часто, ежедневно по нескольку раз, встречался с нею. Правда, главное фактическое подтверждение, с указанием на место, где связь эта была закреплена, принадлежит Суриной, но и оно подкрепляется посторонними обстоятельствами, а именно — показаниями служащего в Зоологической гостинице мальчика и Дарьи Гавриловой. Обвиняемый говорит, что он в этот день до 6 часов сидел в мировом съезде, слушая суд и собираясь подать апелляцию. Не говоря уже о том, что, пройдя по двум инстанциям, он должен был слышать от председателя мирового съезда обязательное по закону заявление, что апелляции на приговор съезда не бывает, этот человек, относительно которого приговор съезда был несправедлив, не только по его мнению, но даже по словам его хозяина, который говорит, что Егор не виноват, «да суд так рассудил», этот человек идет любопытствовать в этот самый суд и просиживает там полдня. Действительно, он не был полдня дома, но он был не в съезде, а в Зоологической гостинице. На это указывает мальчик Иванов. Он видел в Михайлов день Сурину в номерах около 5 часов. Это подтверждает и Гаврилова, которой 8 ноября Сурина сказала, что идет с Егором, а затем вернулась в 6 часов. Итак, частица показания Суриной подтверждается. Таким образом, очевидно, что прежние дружеские, добрые отношения между Лукерьею и ее мужем поколебались. Их место заняли другие, тревожные. Такие отношения не могут, однако, долго длиться: они должны измениться в ту или другую сторону. Из них должна была постоянно влиять страсть и прежняя привязанность, которые пробудились в Егоре с такою силою и так скоро. В подобных случаях может быть два исхода: или рассудок, совесть и долг победят страсть и подавят ее в грешном теле, и тогда счастье упрочено, прежние отношения возобновлены и укреплены, или, напротив, рассудок подчинится страсти, заглухнет голос совести и страсть, увлекая человека, овладеет им совсем; тогда явится стремление не только нарушить, но навсегда уничтожить прежние тягостные, стесняющие отношения. Таков общий исход всех действий человеческих, совершаемых под влиянием страсти; на середине страсть никогда не останавливается; она или замирает, погасает, подавляется или, развиваясь чем далее, тем быстрее, доходит до крайних пределов. Для того чтобы определить, по какому направлению должна идти страсть, овладевшая Емельяновым, достаточно взглянуть в характер действующих лиц. Я не стану говорить о том,

каким подсудимый представляется нам на суде; оценка представления его на суде должна быть, по моему мнению, предметом наших обсуждений. Но мы можем проследить его прошлую жизнь по тем показаниям и сведениям, которые здесь даны и получены.

Лет 16 он приезжает в Петербург и становится банщиком при номерных, так называемых «семейных» банях. Известно, какого рода это обязанность; здесь, на суде, он сам и две девушки из дома терпимости объяснили, в чем состоит одна из главных функций этой обязанности. Ею-то, между прочим, Егор занимается с 16 лет. У него происходит перед глазами постоянный, систематический разврат. Он видит постоянное беззащитное проявление грубой чувственности. Рядом с этим является добывание денег не действительною, настоящею работою, а «наводкою». Средства к жизни добываются не тяжелым и честным трудом, а тем, что он угождает посетителям, которые, довольные проведенным временем с приведенною женщиною, быть может, иногда и не считая хорошенько, дают ему деньги на водку. Вот какова его должность с точки зрения труда! Посмотрим на нее с точки зрения долга и совести. Может ли она развить в человеке самообладание, создать преграды внутренние и нравственные, порывам страсти? Нет, его постоянно окружают картины самого беззащитного проявления половой страсти, а влияние жизни без серьезного труда, среди далеко не нравственной обстановки для человека, не укрепившегося в другой, лучшей сфере, конечно, не явится особо задерживающим в ту минуту, когда им овладевает чувственное желание обладания... Взглянем на личный характер подсудимого, как он нам был описан. Это характер твердый, решительный, смелый. С товарищами живет Егор не в ладу, нет дня, чтобы не ссорился, человек «озорной», беспокойный, никому спускать не любит. Студента, который, подойдя к бане, стал нарушать чистоту, он поколотил больно — и поколотил притом не своего брата мужика, а студента, «барина», — стало быть, человек, не очень останавливающийся в своих порывах. В домашнем быту это человек не особенно нежный, не позволяющий матери плакать, когда его ведут под арест, обращающийся со своею любовницею, «как палач». Ряд показаний рисует, как он обращается вообще с теми, кто ему подчинен по праву или обычаю: «Идешь ли?» — прикрикивает он на жену, зовя ее с собою; «Гей, выходи», — стучит в окно, «выходи» — властно кричит он Аграфене. Это человек, привыкший властвовать и повелевать теми, кто ему покоряется, чуждающийся товарищей, самолюбивый, непьющий, точный и аккуратный. Итак, это характер сосредоточенный, сильный и твердый, но развившийся в дур-

ной обстановке, которая ему никаких сдерживающих нравственных начал дать не могла.

Посмотрим теперь на его жену. О ней также характеристичные показания: эта женщина невысокого роста, толстая, белокурая, флегматическая, молчаливая и терпеливая: «Всякие тиранства от моей жены, капризной женщины, переносила, никогда слова не сказала», — говорит о ней свидетель Одинцов. «Слова от нее трудно добиться», — прибавил он. Итак, это вот такая личность: тихая, покорная, вялая и скучная, главное — скучная. Затем выступает Аграфена Сурина. Вы ее видели и слышали: вы можете относиться к ней не с симпатией, но вы не откажете ей в одном; она бойка и даже здесь за словом в карман не лезет, не может удержат улыбки, споря с подсудимым, она, очевидно, очень живого, веселого характера, энергическая, своего не уступит даром, у нее черные глаза, румяные щеки, черные волосы. Это совсем другой тип, другой темперамент.

Вот такие-то три лица сводятся судьбою вместе. Конечно, и природа, и обстановка указывают, что Егор должен скорее сойтись с Аграфеною; сильный всегда влечется к сильному, энергическая натура сторонится от всего вялого и слишком тихого. Егор женился, однако, на Лукерье. Чем она понравилась ему? Вероятно, свежестью, чистотою, невинностью. В этих ее свойствах нельзя сомневаться. Егор сам не отрицает, что она вышла за него, сохранив девическою чистоту. Для него эти ее свойства, эта ее неприкосновенность должны были представлять большой соблазн, сильную приманку, потому что он жил последние годы в такой сфере, где девической чистоты вовсе не полагается; для него обладание молодою, невинною женою должно было быть привлекательным. Оно имело прелесть новизны, оно так резко и так хорошо противоречило общему складу окружающей его жизни. Не забудем, что это не простой крестьянин, грубоватый, но прямодушный, — это крестьянин, который с 16 лет в Петербурге, в номерных банях, который, одним словом, «хлебнул» Петербурга. И вот он вступает в брак с Лукерьею, которая, вероятно, иначе ему не могла принадлежать; но первые порывы страсти прошли, он охлаждается, а затем начинается обычная жизнь, жена его приходит к ночи, тихая, покорная, молчаливая... Разве это ему нужно с его живым характером, с его страстною натурою, испытавшею житье с Аграфеною? И ему, особенно при его обстановке, приходилось видывать виды, и ему, может быть, желательна некоторая завлекательность в жене, молодой задор, юркость, бойкость. Ему, по характеру его, нужна жена живая, веселая, а Лукерья — совершенная противоположность этому. Охлаждение понятно, естественно.

А тут Аграфена снует, бегаёт по коридору, поминутно суется на глаза, подсмеивается и не прочь его снова завлечь. Она зовет, манит, туманит, раздражает, и когда он снова ею увлечен, когда она снова позволяет обнять себя, поцеловать; в решительную минуту, когда он хочет обладать ею, она говорит: «Нет, Егор, я вашего закона нарушать не хочу», — т. е. каждую минуту напоминает о сделанной им ошибке, корит его тем, что он женился, не думая, что делает, не рассчитав последствий, сглупив... Он знает при этом, что она от него ни в чем более не зависит, что она может выйти замуж и пропасть для него навсегда. Понятно, что ему остается или махнуть на нее рукою и вернуться к скучной и молчаливой жене, или отдалиться Аграфене. Но как отдалиться? Вместе, одновременно с женою? Это невозможно. Во-первых, это в материальном отношении дорого будет стоить, потому что ведь придется и материальным образом иногда выразить любовь к Суриной; во-вторых, жена его стесняет; он человек самолюбивый, гордый, привыкший действовать самостоятельно, свободно, а тут надо ходить тайком по номерам, лгать, скрываться от жены или слушать брань ее с Аграфеною и с собою — и так навеки! Конечно, из этого надо найти исход. И если страсть сильная, а голос совести слаб, то исход может быть самый решительный. И вот является первая мысль о том, что от жены надо избавиться.

Мысль эта является в ту минуту, когда Аграфена вновь стала принадлежать ему, когда он снова вкусил от сладости старой любви и когда Аграфена отдалась ему, сказав, что это, как говорится в таких случаях, «в первый и в последний раз». О появлении этой мысли говорит Аграфена Сурина: «Не сяду под арест без того, чтобы Лукерья не было», — сказал ей Емельянов. Мы бы могли не совсем поверить ей, но слова ее подтверждаются другим беспристрастным и добросовестным свидетелем, сестрою Лукерьи, которая говорит, что накануне смерти, через неделю после свидания Егора с Суриною, Лукерья передавала ей слова мужа: «тебе бы в Ждановку». В каком смысле было это сказано — понятно, так как она отвечала ему: «Как хочешь, Егор, но сама я на себя рук накладывать не стану». Видно мысль, на которую указывает Аграфена, в течение недели пробежала целый путь и уже облеклась в определенную и ясную форму — «тебе бы в Ждановку». Почему же именно в Ждановку? Вглядитесь в обстановку Егора и отношения его к жене. Надо от нее избавиться. Как, что для этого сделать? Убить... Но как убить? Зарезать ее — будет кровь, нож, явные следы, — ведь они видятся только в бане, куда она приходит ночевать. Отравить? Но как достать яду, как скрыть следы преступления, и т. д.

Самое лучшее и, пожалуй, единственное средство — утопить. Но когда? А когда она пойдет провожать его в участок, — это время самое удобное, потому, что при обнаружении убийства он окажется под арестом и даже как нежный супруг и несчастный вдовец пойдет потом хоронить утопившуюся или утонувшую жену. Такое предположение вполне подкрепляется рассказом Суриной. Скажут, что Сурина показывает о самом убийстве темно, туманно, путается, сбивается. Все это так, но у того, кто даже как посторонний зритель бывает свидетелем убийства, часто трясутся руки и колотится сердце от зрелища ужасной картины; когда же зритель не совсем посторонний, когда он даже очень близок к убийце, когда убийство происходит в пустынном месте, осенью и сырою ночью, тогда немудрено, что Аграфена не совсем может собрать свои мысли и не вполне разглядела, что именно и как именно делал Егор. Но сущность ее показаний все-таки сводится к одному, т. е. к тому, что она видела Егора топившим жену; в этом она тверда и впечатление это передает с силою и настойчивостью. Она говорит, что, испугавшись, бросилась бежать, затем он догнал ее, а жены не было; значит, думала она, он-таки утопил ее; спросила о жене — Егор не отвечал. Показание ее затем вполне подтверждается во всем, что касается ее ухода из дома вечером 14 ноября. Подсудимый говорит, что он не приходил за ней, но Анна Николаевна удостоверяет противоположное и говорит, что Аграфена, ушедшая с Егором, вернулась через 20 минут. По показанию Аграфены, она как раз прошла и пробежала такое пространство, для которого нужно было, по расчету употребить около 20 минут времени.

Нам могут возразить против показания Суриной, что смерть Лукерьи могла произойти от самоубийства или же сама Сурина могла убить ее. Обратимся к разбору этих, могущих быть, возражений. Прежде всего нам скажут, что борьбы не было, потому что платье утопленницы **не** разорвано, не запачкано, что сапоги у подсудимого, который должен был войти в воду, не были мокры и т. д. Вглядитесь в эти два пункта возражений и вы увидите, что они вовсе не так существенны, как кажутся с первого взгляда. Начнем с грязи и борьбы. Вы слышали показание одного свидетеля, что грязь была жидкая, что была слякоть; вы знаете, что место, где совершено убийство, весьма крутое, скат в 9 шагов, под углом 45°. Понятно, что, начав бороться с кем-нибудь на откосе, можно было съехать по грязи в несколько секунд до низу и если затем человек, которого сталкивают, запачканного грязью, в текущую воду, останется в ней целую ночь, то нет ничего удивительного, что на платье, пропитанном насквозь водою, слякоть расплывается и следов ее не останется: при-

рода сама выстирает платье утопленницы. Скажут, что нет следов борьбы. Я не стану утверждать, чтобы она была, хотя разорванная пола куцавейки наводит, однако, на мысль, что нельзя отрицать ее существования. Затем скажут: сапоги! Да, сапоги эти, по-видимому, очень опасны для обвинения, но только по-видимому. Припомните часы: когда Егор вышел из дома, это было три четверти десятого, а пришел он в участок десять минут одиннадцатого, т. е. через 25 минут по выходе из дома и минут через 10 после того, что было им совершено, по словам Суриной. Но в часть, где собственно содержатся арестанты и где его осматривали, он пришел в 11 часов, через час после того дела, в совершении которого он обвиняется. В течение этого времени он много ходил, был в теплой комнате и затем его уже обыскивают. Когда его обыскивали, вы могли заключить из показаний свидетелей; один из полицейских объяснил, что на него не обратили внимания, потому что он приведен на 7 дней; другой сказал сначала, что всего его обыскивал, и потом объяснил, что сапоги подсудимый снял сам, а он осмотрел только карманы. Очевидно, что в этот промежуток времени он мог успеть обсохнуть, а если и оставалась сырость на платье и сапогах, то она не отличалась от той, которая могла образоваться от слякоти и дождя. Да, наконец, если вы представите себе обстановку убийства так, как описывает Сурина, вы убедитесь, что ему не было надобности входить в воду по колени. Завязывается борьба на откосе, подсудимый пихает жену, они скатываются в минуту по жидкой грязи, затем он схватывает ее за плечи и, нагнув ее голову, сует в воду. Человек может задохнуться в течение двух-трех минут, особенно если не давать ему ни на секунду вынырнуть, если придержать голову под водой. При такой обстановке, которую описывает Сурина, всякая женщина в положении Лукерьи будет поражена внезапным нападением, — в сильных руках разъяренного мужа не собирается с силами, чтобы сопротивляться, особенно если принять в соображение положение убийцы, который держал ее одною рукою за руку, на которой и остались синяки от пальцев, а другою нагибал ей голову к воде. Чем ей сопротивляться, чем ей удержаться от утопления? У нее свободна одна лишь рука, но перед нею вода, за которую ухватиться, о которую опереться нельзя. Платье Егора могло быть при этом сыро, забрызгано водою, запачкано и грязью немного, но при поверхностном осмотре, который ему делали, это могло остаться незамеченным. Насколько это вероятно, вы можете судить по показаниям свидетелей; один говорит, что он засажен в часть в сапогах, другой говорит босиком; один показывает, что он был в сюртуке, другой говорит — в чуйке и т. д. Наконец, известно, что

ему позволили самому явиться под арест, что он был свой человек в участке, — станут ли такого человека обыскивать и осматривать подробно?

Посмотрим, насколько возможно предположение о самоубийстве. Думаю, что нам не станут говорить о самоубийстве с горя, что мужа посадили на 7 дней под арест. Надо быть детски-легковерным, чтобы поверить подобному мотиву. Мы знаем, что Лукерья приняла известие об аресте мужа спокойно, хладнокровно, да и приходиться в такое отчаяние, чтобы топиться ввиду семидневной разлуки, было бы редким, чтобы не сказать невозможным примером супружеской обязанности. Итак, была другая причина, но какая же? Быть может, жестокое обращение мужа, но мы, однако, не видим такого обращения: все говорят, что они жили мирно, явных ссор не происходило. Правда, она раз, накануне смерти, жаловалась, что муж стал грубо отвечать, лез с кулаками и даже советовал ей «в Ждановку». Но, живя в России, мы знаем, каково в простом классе жестокое обращение с женою. Оно выражается гораздо грубее и резче, в нем муж, считая себя в своем неотъемлемом праве, старается не только причинить боль, но и на шуметь, сорвать сердце. Здесь такого жестокого обращения не было и быть не могло. Оно, по большей части, есть следствие грубого возмущения какою-нибудь стороною в личности жены, которую нужно, по мнению мужа, исправить, наказуя и истязуя. Здесь было другое чувство, более сильное и всегда более страшное по своим результатам. Это была глубокая, затаенная ненависть. Наконец, мы знаем, что никто так не склонен жаловаться и плакаться на жестокое обращение, как женщина, и Лукерья точно так же не удержалась бы, чтобы не рассказывать хоть близким, хоть сестре, что нет житья с мужем, как рассказала о нем накануне смерти. Итак, нет повода к самоубийству. Посмотрим на выполнение этого самоубийства. Она никому не намекает даже о своем намерении, напротив, говорит накануне противоположное, а именно: что рук на себя не наложит; затем она берет у сестры — у бедной женщины — кофту: для чего же? — чтобы в ней утопиться; наконец, местом утопления она выбирает Ждановку, где воды всего на аршин. Как же тут утопиться? Ведь надо согнуться, нужно чем-нибудь придержаться за дно, чтобы не всплыть на поверхность... Но чувство самосохранения непременно скажется, — молодая жизнь восстала бы против своего преждевременного прекращения, и Лукерья сама выскочила бы из воды. Известно, что во многих случаях самоубийцы потому только гибнут под водою, что или не умеют плавать, или же несвоевременно придет помощь, которую они обыкновенно сами призывают. Всякий, кто знаком с обстановкою са-

моубийства, знает, что утопление, а также бросание с высоты, — два преимущественно женских способа самоубийства, — совершаются так, что самоубийца старается ринуться, броситься как бы с тем, чтобы поскорей, сразу, без возможности колебания и возврата, прервать связь с окружающим миром. В воду «бросаются», а не ищут такого места, где бы надо было «входить» в воду, почти как по ступенькам. Топясь в Ждановке, Лукерья должна была войти в воду, нагнуться, даже сесть и не допустить себя встать, пока не отлетит от нее жизнь. Но это положение немыслимое! И зачем оно, когда в десяти шагах течет Нева, которая не часто отдает жизни тех, кто пойдет искать утешения в ее глубоких и холодных струях. Наконец, самое время для самоубийства выбирается такое, когда сама судьба послала ей семидневную отсрочку, когда она может вздохнуть и пожить на свободе без мужа, около сестры. Итак, это не самоубийство.

Но, быть может, это убийство, совершенное Аграфеной Суриной, как намекает на это подсудимый? Я старался доказать, что не Аграфене Суриной, а мужу Лукерьи можно было желать убить ее, и притом, если мы остановимся на показании обвиняемого, то мы должны брать его целиком, особенно в отношении Суриной. Он здесь настойчиво требовал от свидетелей подтверждения того, что Лукерья плакалась от угроз Суриной удавить ее или утюгом хватить. Свидетели этого не подтвердили, но если все-таки верить обвиняемому, то надо признать, что Лукерья окончательно лишилась рассудка, чтобы идти ночью на глухой берег Ждановки с такою женщиною, которая ей враг, которая грозила убить ее! Скажут, что Сурина могла напасть на нее, когда она возвращалась, проводив мужа. Но факты, неумолимые факты докажут нам противное. Егор ушел из бань в три четверти десятого, пришел в участок в десять минут одиннадцатого, следовательно, пробыл в дороге 25 минут. Одновременно с уходом из дому он вызвал Аграфену, как говорит Николаев. Следовательно, Сурина могла напасть на Лукерью только по истечении этих 25 минут. Но та же Николаева говорила, что Аграфена Сурина вернулась домой через двадцать минут после ухода. Наконец, могла ли Сурина один-на-один сладить с Лукерьею, как мог сладить с нею ее муж и повелитель? Вот тут-то были бы следы той борьбы, которой так тщетно искала защита на платье покойной. Итак, предположение о Суриной как убийце Лукерьи рушится и мы приходим к тому, что показание Суриной в существе своем верно. Затем остаются неразъяснимыми два обстоятельства: во-первых, зачем обвиняемый вызвал Аграфену, когда шел убивать жену, и, во-вторых, зачем он говорил, по показанию Суриной, что «брал девку, а

вышла «баба», и упрекал в том жену, в последние моменты ее жизни? Не лжет ли Сурина? Но, господа присяжные, не одними внешними обстоятельствами, которые режут глаза, определяется характер действий человека; при известных случаях надо посмотреть и на те душевные проявления, которые свойственны большинству людей при известной обстановке. Зачем он бросил тень на честь своей жены в глазах Аграфены? Да потому, что, несмотря на некоторую свою испорченность, он живет в своеобразном мире, где при разных, подчас грубых и не вполне нравственных явлениях существует известный, определенный, простой и строгий нравственный кодекс. Влияние кодекса этого выразилось в словах Аграфены: «Я вашего закона нарушать не хочу!» Подсудимый — человек самолюбивый, гордый и властный; прийти просто просить у Аграфены прощения и молить о старой любви — значило бы прямо сказать, что он жену не любит потому, что женился «сдуру», не спросясь броду; Аграфена стала бы смеяться. Надо было иметь возможность сказать Аграфене, что она может нарушить закон, потому что этого закона нет, потому что жена внесла бесчестье в дом и опозорила закон сама. Не тоскующим и сделавшим ошибку, непоправимую на всю жизнь, должен он был прийти к Аграфене, а человеком оскорбленным, презиравшим жену, не смогшую до свадьбы «себя соблюсти». В таких условиях Аграфена стала бы его, быть может, жалеть, но он не был бы смешон в ее глазах. И притом — это общечеловеческое свойство, печальное, но верное, — когда человек беспричинно ненавидит другого, несправедлив к нему, то он силится найти в нем хоть какую-нибудь, хотя вымышленную, вину, чтоб оправдаться в посторонних глазах, чтобы даже в глазах самого ненавидимого быть как бы в своем праве. Вот почему лгал Егор о жене Аграфене и в решительную минуту при них обоих повторял эту ложь, в виде вопроса жене о том, кому продала она свою честь, хотя теперь и утверждает, что жена была целомудренна.

Зачем он вызвал Аграфену, идя на убийство? Вы ознакомились с Аграфеною Суриною и, вероятно, согласитесь, что эта женщина способна вносить смуту и раздор в душевный мир человека, ею увлеченного. От нее нечего ждать, что она успокоит его, станет говорить как добрая, любящая женщина. Напротив, она скорее всего в ответ на уверения в прочности вновь возникшей привязанности станет дразнить, скажет: «Как же, поверь тебе, хотел ведь на мне жениться — два года водил, да и женился на другой». Понятно, что в человеке самолюбивом, молодом, страстном, желающем приобрести Аграфену, должно было явиться желание доказать, что у него твердо намерение обладать ею, что он готов даже уничтожить

жену-разлучницу, да не на словах, которым Аграфена не верит и над которыми смеется, но на деле. Притом она уже раз испытала его неверность, она может выйти замуж, не век же ей находиться под его гнетом; надо ее закрепить надолго, навсегда, поделившись с нею страшною тайною. Тогда всегда будет возможность сказать: «Смотри, Аграфена! Я скажу все, мне будет скверно, да и тебе, чай, не сладко придется. Вместе погибать пойдем, ведь из-за тебя же Лукерья душу загубил...»

Вот для чего надо было вызвать Аграфену, удалив, во что бы то ни стало, плаксивую мать, которая дважды вызывалась идти его провожать. Затем могли быть и практические соображения: зайдя за ней, он мог потом, в случае обнаружения каких-нибудь следов убийства, сказать: я сидел в участке, а в участок шел с Грушей, что же — разве при ней я совершил убийство? Спросите ее! Она будет молчать, конечно, и тем дело кончится. Но в этом расчете он ошибся. Он не сообразил, какое впечатление может произвести на Сурина то, что ей придется видеть, он позабыл, что на молчание такой восприимчивой женщины, как Сурина, положиться нельзя... Вот те соображения, которые я считал нужным вам представить. Мне кажется, что все они сводятся к тому, что обвинение против подсудимого имеет достаточные основания. Поэтому я обвиняю его в том, что, возненавидев свою жену и вступив в связь с другою женщиною, он завел жену ночью на речку Ждановку и там утопил.

Кончая обвинение, я не могу не повторить, что такое дело, как настоящее, для разрешения своего потребует больших усилий ума и совести. Но я уверен, что вы не отступите перед трудностью задачи, как не отступила перед ней обвинительная власть, хотя, быть может, разрешите ее иначе. Я нахожу, что подсудимый Емельянов совершил дело ужасное, нахожу, что, постановив жестокий и несправедливый приговор над своею бедною и ни в чем не повинною женою, он со всею строгостью привел его в исполнение. Если вы, господа присяжные, вынесете из дела такое убеждение, как и я, если мои доводы подтвердят в вас это убеждение, то я думаю, что не далее, как через несколько часов, подсудимый услышит из ваших уст приговор, конечно, менее строгий, но, без сомнения, более справедливый, чем тот, который он сам произнес над своею женою.

1872 г.

Господа судьи!

Между обвинением и подсудимым в настоящем деле нет места для захватывающей дух борьбы, для непримиримого спора. Подсудимый, сознавшийся на предварительном следствии, подтвердил без всяких уклонений свое слово и здесь, на суде. Это упрощает задачу защиты, суживает объем ее, ограничивая ее доводы теми, которые по данным делам могут влиять лишь на меру и степень заслуженной подсудимым кары.

Формулируя с достаточной точностью признаки, по которым судья распознает между безнравственными поступками такие, которые влекут за собой уголовную кару, указывая на роды и виды наказаний, сопровождающих то или другое преступление, закон не исчерпал всех случаев, которые влияют на понижение назначенного наказания, но предоставил судьям значительную долю усмотрения при смягчении его. Все, что в жизни подсудимого, в его характере, в его врожденных достоинствах и недостатках, наконец, в обстановке совершенного им преступления возбуждает сожаление, снисходительное сострадание в честном человеческом сердце, — все это имеет право принять во внимание и судья, отправляющий правосудие. Отсюда следует, что изучение условий, которые влияют на меру наказания, ожидаемого подсудимым, должно совпасть с воспроизведением тех фактических подробностей дела, в которых заключаются яркие признаки наличности данных, уполномочивающих меня говорить о пощаде и снисхождении к моему клиенту. Останавливаясь на них, я воспользуюсь планом обвинителя: сначала изучу прошлое подсудимого и его жертвы до их первой встречи и затем уже, проследив печальную драму, начавшуюся их знакомством, подойду к ужасной минуте преступления. Вся разница будет заключаться в том, что я введу в дело факты, пройденные молчанием со стороны обвинителя, а эти факты дадут место иным выводам, более мягким, чем те, к которым пришел он; но метод, обнаруживающий в своем применении присутствие человечности и сострадания, надеюсь, имеет право конкурировать с тем, которому он противопоставляется. Итак, к делу. Обвинитель познакомил вас с личностью Марии Висновской. Он не отрицает, даже подчеркивает темные пятна в ее жизни и поступках, ставя, впрочем, их рядом с высотой ее умственных сил, выразившейся в думах и мыслях, занесенных ею в свой дневник. С своей стороны, присматриваясь к личности покойной, я не вижу необходимости ни идеа-

лизировать ее внутренних сил, ни унижать ее житейские поступки. Судя по тому, чего она достигла на сцене, мы знаем, что она не была обижена судьбой: завидной красоте гармонизировал талант, эта искра божия в душе, не затушенная, а развитая трудолюбием и любовью к образованию в молодой девушке. Но было бы ошибкой о высоте умозрений заключать по выпискам из ее дневника. Те мысли, которые приписал ей обвинитель, были цитатами, занесенными ею для памяти из умных книг, попадавших ей под руку. Трудно себе представить, чтобы полные отчаяния пессимистические изречения скептика античного мира о блаженстве неродившихся и о счастье рано умерших были «законченными принципами» ее в то время почти еще детской головки, а не просто поразившими ее слух «страшными, но красиво сказанными словами» умного человека. Все в свое время... Для отвращения от жизни еще не наставало срока, а жизнь с ее обстановкой пока работала над формировкой иных характерных черт в личности покойной. Время, когда Висновская записывала ука-занные цитаты, застает ее уже на сцене одного из театров. Молодой талант уже замечен, выделен из толпы лицедеев из-за куска хлеба. Талант, воплощенный в обольстительные формы молодой красоты, замечен трижды — артистка делается любимицей. Тут-то бы, кажется быть довольной, как никогда, своим положением, тут-то бы, кажется, не вспомнить ни одного из тех пессимистических изречений, которые пришли ей на ум, а она в них находит, точно несчастный в грустных музыкальных мелодиях, отголосок своему душевному настроению. Разгадка этого — в фактах, занесенных ею в свои книжки. Очарованная своей эстетической карьерой сцена разочаровывает ее реализмом будничной жизни артиста. В окружающей ее театральной публике она встретила то, что приходится наблюдать везде и всюду: большинство поклонников, не умеющих уважать женщин в артистке и отделять интересы ее, как художника, от интересов женского и общечеловеческого достоинства. Любуясь ею, как артисткой, хотели быть близкими к ней, как к женщине. Служа эстетическому запросу публики на сцене, она не обретала покоя и после того, как опускался занавес театра. Любитель, располагавший благодаря средствам возможностью всегда заниматься лучшим местом в театре, требовал той же доступности от артистки и вне театра, когда артистка оставалась только женщиной. И не всегда хватало у ней средств на борьбу с этими условностями артистической жизни. Вы помните те страницы ее дневника, где она жалуется на неотвязчивые искательства одних, на дерзкую самоуверенность других, на оскорблявшее девическое достоинство преследование третьих... Моло-

дое сердце хочет любить, верить в то, что и ей на долю будет дана отрадная встреча, под впечатлением этого она подчас с доверием выслушивала ласковое слово, полуробкое признание, а через несколько дней уже клянет человека, оказавшегося, как и все, искателем либо сильных ощущений, либо быстрых и решительных побед в мире будуаров и таинственных парков... Так живет она, то удовлетворенная артистическим успехом, то оскорбляемая грубостью поклонников, то обольщенная любовью, то разочарованная пошлостью, прикрытой любовными речами. Все это отзывается в ее записках, все это мало-помалу, не формируя из нее глубоко убежденной пессимистки, однако, обращает ее воззрение к смерти и небытию. Она любит говорить о них, любит этого рода образы, и раз — это было по какой-то странной мистической случайности — записала в свою книгу и картину своей будущей смерти. Она хотела бы, записала она десять лет тому назад, умереть в комнате, обтянутой розовой материей, таинственно освещенной лампой, среди цветов и музыки... Позднее жизнь исполнила ее мечтательное желание, хотя суровые условия немного пародировали обстановку, где Висновская покончила счеты с жизнью, пародировали ее, начиная с более темных колеров материи... но об этом после. Книга книгой, а жизнь жизнью. Висновская продолжает играть на сцене, продолжает завоевывать положение, отвлекающее ее помыслы от смерти. Прочно завоеванная репутация талантливой артистки в ее руках. Ею занята пресса, она желанная работница на лучшей сцене. Однако социальное положение не удовлетворяет всех целей жизни. У нее остается внутренний мир женского сердца, а ему нанесены в прошлом тяжелые раны, которых не исцелило время и не утолили успехи. Висновская никогда не уходила в сцену всем существом своим. Женские семейные инстинкты не умирали в ней. Мечты ранней девичьей поры об избраннике не оставляли ее в более зрелую пору. На это нам намекают ее разговоры о женихах, ищущих ее руки. А если это верно и верно с тем вместе мое мнение о ней, то мы можем смело заглянуть в ее внутренний мир, в эту следующую пору ее жизни и отгадать мечты и чувства, какие она тогда переживала.

Прошлое, ее чем-то жестоко оскорбившее, носилось перед ней, как темное пятно, которое помешает счастью, если бы оно выпало на ее долю. Она умеет любить и может полюбить, она сумела бы наградить своего избранника не только нежностями любящего сердца, но и прелестью талантливого женского ума. Но человек, который ей отдал себя, который соединит свой путь с ее путем, должен будет принести страшную жертву — он должен будет примириться с тем, что ее прошлое

омрачено, что сзади его — там, где-то ведомый или неведомый ему, — живет человек, надругавшийся над его женой, смертельно оскорбивший ее, замаравший ее когда-то непорочное имя. Сумеет ли избранный простить? Как перенесет он часы признания, которыми ей придется отравить первые же дни их счастья? И если он все простит ей, — действительно ли он примирится с пережитым, и оно, вопреки его словам и, может быть, даже клятвам, не будет носиться перед ним, отравляя дни их семейного мира? Может быть, не раз, не два, слушая ее полные любви и ласки речи, он будет сравнивать их с теми, что расточала она другому, отдаваясь ему, как жертва, и сложное чувство ревности и оскорбленного самолюбия исказит его черты... Такие думы заставляли ее считать неисполнимым ее право на светлый семейный очаг, унижали ее в собственных глазах. Под влиянием этого внутреннего протеста она, что казалось другим кокетством и только кокетством, так охотно окружала себя поклонниками, так часто выслушивала их действительные и мнимые предложения руки и сердца.

Самоуважение заставляло ее верить в то, что она, может быть, честно любила, жажда семейного очага побуждала отвечать на внимание вниманием, а ошибки прошлого обуславливали неуверенность во взаимности, заискивание перед всеми, кто был, видимо, равнодушен к ней. Приходилось, кажется, идти далее. Эти, обещавшие в будущем титул мужа, но встречавшие, точно сговорившись, на пути своем разные препятствия, были мужчинами, были нетерпеливы в своей страсти. Чтобы не терять избранника, не потерять надежды на счастливый исход, она, по ошибкам прошлого изучившая обычную натуру мужчины, сама идет навстречу их желаниям, идет и, как показал опыт, ошибается, запутывается и все ниже и ниже падает в своих собственных глазах.

Это не могло не отозваться на нервах, на характере Висновской. А к этому прибавьте те изводящие душу условия, среди которых проходит жизнь артистки театрального искусства. Знаю, что меня назовут за это ретроградом, не умеющим прозреть чистого идеала сквозь туманы действительности, но действительность только и может объяснить многое туманное и неразгаданное в личности покойной и в роковой развязке ее встречи с подсудимым.

Как артистка, она не могла относиться с суровой недоступностью к массе поклонников и ухаживателей и незаметно... переродилась в кокетку, в ту опасную кокетку, обращение которой с ухаживателями могло одновременно кружить головы многим, лишая их самообладания и умения отличать

в ее отношениях любезность от взаимности. Темным пятном лежит на ее личности этот бьющий в глаза всем ее наблюдательным и серьезным знакомым дефект, но он отчасти вызван отрицательными сторонами сценической профессии. В противоположность поэту, художнику звука, кисти и резца, артист не может ограничиться узким кругом ценителей, стоящих на высоте культуры, не может успокоиться на мнении немногих при полном молчании безучастной и чуждой художнику толпы; артист работает перед зрителем всех ступеней развития, в театр открыт доступ всем и каждому, и самый характер искусства делает его заманчивым для зрителей любого умственного и нравственного развития. <...> Поневоле артист иначе относится к зрителю, чем его родители по духу, поневоле артистка снисходительнее к смелым посетителям театра, видя в них зачинщиков оценки ее таланта, могущих или одобрить или нагнуть уныние на нее в момент художественной работы.

Но и это еще не все. Художники — не актеры, они могут работать в часы свободного подъема духа. <...> Актер — не то: ни в выборе пьесы, ни в часах отдыха и труда он не властен; когда взвился занавес театральный, он должен быть тем, чем велит быть ему роль, как бы ни были противоположно настроены струны его души... Нет ни отсрочки, ни выбора. Любая природная мощь, любая нервно счастливая организация расшатается. Молодая женщина, как Висновская, игравшая чуть не ежедневно, утомленная и трудом и своим внутренним разладом, не могла выдержать долго; она должна быть в годы, когда с ней встретился Бартнев, быть уже разбитой натурой. Такой она и была. То не знающая отдыха работница, то ловкая кокетка, очаровывающая одновременно нескольких, то мечтательница о семейном очаге, то рабыня чужих страстей, то вдохновенная артистка, то стремящаяся сделать из своего искусства блестящую авантюру с целью добиться прочного материального положения... В это время с ней в фойе театра знакомится Бартнев. Знакомство это не могло не произвести на него глубокого впечатления. Бартнев, как вы сами видите, не из тех, которым суждены победы над представительницами прекрасного пола. Маленький, с обыкновенной некрасивой внешностью, с несмелыми манерами — что он ей? Другое дело она: красивая, блестящая артистка. Его к ней повлечет, ее к нему едва ли.

— Он делает ей визит, он повторяет его... То же делают многие. Висновская, как опытный вождь, вербующий армию, записывает его в ряды своей партии, и только поэтому открывает ему двери своего дома, не чувствуя ни повода, ни по-

буждений отличать его визиты от других или ждать их с нетерпением молодости и любви.

А он бывает все чаще и чаще... засиживается, робко теряется при ее взгляде, теряет и тот ум, что ему дан. Куртизанка, падшая женщина, стала бы смеяться над этой любовной сентиментальностью и пошла бы либо навстречу ей, если бы это входило в ее планы, либо прогнала бы вздыхателя, мешающего ей жить, как ей хочется. Но Висновская не куртизанка, не падшая женщина. Она понимает чувство Бартенева, уважает его в нем. Она не может отвечать на него; служительница прекрасного искусства, она не может и в области привязанностей остановиться на чем-либо внешне неэстетическом; но глубина его привязанности и не оскорблявшее ее даже намеком на что-либо грязное чувство молодого человека льстит ей. Она его терпит и на его робкие речи отвечает бессодержательными и привычными фразами кокетства, благо они вошли уже в характер, и довольна тем, что эти фразы утешают гусара, сводят его с ума, греют его, может быть, не привыкшего к таким речам. Она не ошиблась. Бартенев ездил к ней не с целью мимолетного успеха, он предложил ей руку... Этим предложением она была польщена: гордость и самолюбие ее нашли в нем — рядом с скорбными чувствами, что она не дождалась лучшей, завиднейшей доли, — и удовлетворение: ее ценят, ее уважают, считают за счастье соединить ее руку со своей... И потому-то это предложение так облегчило ее тяжелое состояние духа. В это время уже стало замечаться ухудшение ее отношений к печати и к обществу. Ей уже начали приходить в голову мысли о том, что рано или поздно молодость должна неминуемо пройти, а талант, как бы он велик ни был, вместе с молодостью может иссякнуть. В такое время, в тяжелые минуты горьких испытаний, раздражения и сильного физического и нравственного утомления всякое хорошее известие принимается охотнее. Это и понятно. Ведь человек, который видит перед собой смерть, хватается за указанный ему луч надежды, как за прочный якорь спасения. Точно так же Висновская, не чувствуя любви к Бартеневу, приняла его предложение с благодарностью. В этом предложении она видела надежду на спасение. А Бартенев был серьезно намерен жениться. Правда, он не говорил отцу о своем намерении, хотя и обещал Висновской сделать это, но это еще несколько не говорит против него. Отец его строг, и он боялся его. Очень естественно, что, находясь в Варшаве, он находился под влиянием Висновской, но как только он вышел из-под этого влияния, как только выехал в отпуск к отцу, так тотчас же, по мере удаления от Варшавы, его начал все более и более охватывать страх перед

грозным отцом. Ничего нет невероятного в том, что отец Бар-тенева никогда не дал бы согласия сыну жениться на актрисе. Наверно и среди нас многие пришли бы в смущение, если бы сын кого-либо из нас сказал, что он намерен вступить в брак с актрисой. Известно, что браков с актрисами избегают даже многие страстные любители искусства. Бартнев знал это и понимал прекрасно. Он не забывал при этом, что между ним и Висновской существует племенная и религиозная рознь, которая должна послужить одним из главных препятствий для того, чтобы получить от отца разрешение на брак. Вот почему по приезде к отцу он ничего не говорил ему о своем намерении. Вместе с тем он ей писал, что отец не дает своего согласия на брак. На первый взгляд такой поступок может показаться странным, но, в сущности, странного в нем нет ничего. Он просто не решался сказать ей правду, потому что был влюблен в нее до безумия. У него не хватало духу признаться ей в своей уверенности, что отец не дал бы ни за что своего согласия и что просить этого разрешения он не решался: все равно это был бы напрасный труд. Ему казалось, что если он будет откровенен, если скажет всю правду, то она подумает, что он считает ее не заслуживающей быть его женой и что самое предложение он делал ей с задней мыслью, — словом, что и он такой же, как и все остальные. Прежде всего он боялся этой неправдой оскорбить ее, боялся, чтобы она не отшатнулась от него и не удалила его от себя. Возвратившись от отца, он не прекращает своих визитов к ней; он не перестает верить в ее нравственную чистоту, считает ее святой, ставит ни во что слухи, которые втаптывают ее в грязь, и даже обижается на товарищей, если они позволяют себе намеки на ее доступность. Он считает ее совершенно неповинной в тех толках, которые распространяются о ней в обществе, и всю вину сваливать на окружающих ее. Он любит ее и убежден, что всю грязь, которой пачкают ее репутацию, он оставляет окружающим, а ее чистая незапятнанная натура остается на долю ему. Он приготовил ее к мысли о том, что брак невозможен; но при этом он старался поставить себя так, чтобы она могла смотреть на него не как на любовника, а как на мужа, который не имел возможности дать фактическим отношениям природы освящение религии не потому, что он этого не хочет, но потому, что чужая воля мешает ему. Если он хотел и требовал, чтобы она отдалась ему и принадлежала ему, то исключительно как человеку, который питает к ней горячую любовь. Да простит меня подсудимый, но я не верю, чтобы он имел успех у женщин. Нам неизвестно до сих пор, чтобы у него в жизни был какой-либо роман, а если, может быть, и был, то, вероятно, он мог по-

хвастать успехом только у женщин низкого разряда. Я думаю поэтому, что роман с Висновской был первый серьезный роман в его жизни, где он впервые увидел или, может быть, ему показалось, что им заинтересовалась умная и красивая женщина. Естественно, что он дорожил ее вниманием к нему, ценил его высоко и был этим вниманием горд перед другими. Ему казалось, что их взаимная любовь не только не будет компрометировать ее, но, наоборот, принесет ей даже пользу: из ее передней исчезнут люди, для которых безразлично, отвечает она им взаимностью или нет. Он стремился к тому, чтобы устранить этих людей и освободить ее от них. Все это были лица, привыкшие к одним легким победам и понимающие только быструю капитуляцию. Бартенев был среди них иной человек, он признавал только одно — сдаться. Таково было отношение Бартенева к Висновской. Охваченный отуманившей его страстью, он млея, унижался перед ней; он забыл, что мужчина, встречаясь с женщиной, должен быть верен себе, быть представителем силы, ума и спокойствия, умеряя нетерпение, сдерживая воображение, помогая слабости женщины. А он лишился критики и только рабски шел за ее действительной и кажущейся волей, губя себя и ее этой порывистостью исполнения. Висновская более, чем кто-либо другой, не годна была к роли руководителя, нуждалась, наоборот, в контролирующей заботе о себе. Ее сценическими эффектами воспитанная фантазия развила в ней привычку переносить в действительную жизнь театральные формы: блеск, бьющий в глаза наряд, трагические позы она не оставляла и дома. Оттуда же перенесла она в частную жизнь свою любовь к разговорам о смерти. Ведь на сцене это так хорошо выходит, так обаятельно действует на зрителя, так интересно бывает артистка, когда в роли Офелии или Дездемоны, в цветах или вся в белом появляется она перед зрителем, за несколько минут до своей смерти. А затем, утонувшая или убитая, она по окончании пьесы под шум залы вновь выходит и принимает лавры и рукоплескания. Вот эту-то эффектную, театральную смерть — не страшную, красивую любила Висновская и пугала ею своего обожателя, драпируясь в знакомые фразы. А Бартенев именно этого-то и не понимал. Она была для него идеалом, и каждое слово ее он принимал на веру, принимал серьезно, не обсуждая и проникаясь глубоким уважением. Мало-помалу она приучает его, и он проникается ее идеями; он сам начинает думать и говорить о смерти и запасается ядами и револьверами. Но он делает это не для эффекта, не для рисовки, а серьезно. Он делается в ее руках полнейшим автоматом; он повинует ей слепо. Она велит достать яд — он исполняет. Она требует ре-

вольвер — он приносит. ...Она играла — он жил. Раз он приложил револьвер к своему виску и ждал команды, но Висновская, довольная эффектом, удержала его, иначе он бы покончил с собой. Довольно было одного слова: «Что будет со мной, когда у меня, в квартире одинокой женщины, найдут самоубийцу». Другой раз револьвер был приложен уже к ее виску. Случай этот знает Мишуга. Легко убедиться, что это было не нападение Бартенева на Висновскую. Если бы это было так, то крик неожиданности и испуга привлек бы к ней сидевшего в соседней комнате Мишугу; но мы знаем, что она вышла к последнему с пистолетом в руках и только некоторая бледность говорила о том, что она взволнована. Можно себе представить эту сцену так: в разговоре о смерти, в сотый раз повторяя свою любимую тему, Висновская сказала ему: «Если любишь, убей меня и докажи любовь». Раб ее слов сейчас же поднял на нее револьвер. Эта решимость взволновала ее, но так как она была вызвана ее приказом, а не была неожиданной выходкой, то Висновская и не кричала и не звала на помощь.

На этом кончим историю их отношений до 26 марта. Перейдем к этому дню, так как, по словам Бартенева, с этого дня их отношения существенно изменились. Так ли это? Есть серьезные данные, свидетельствующие, что мы можем верить Бартеневу и в этом: 26 марта 1890 г. между Бартеневым и Висновской происходит обмен кольцами. Бартенев говорит, что в этот день она принадлежала ему. Свидетели нам говорят, что с этого дня их отношения стали нежнее и лучше. Свидетельница Штенгель слышала разговор на «ты», и это «ты» имеет важное значение. Уже из одного чувства стыдливости женщина никогда не скажет мужчине «ты» при посторонних. Она начинает говорить так только наедине с ним, но это становится привычкой, и если при посторонних нечаянно прорвется это неосторожное «ты», то оно имеет многозначительное значение. Правда, среди артистов принято говорить друг другу «ты», но ведь Висновская сказала это слово не товарищу по сцене, не артисту, а Бартеневу. Однако есть предположение и противоположного свойства: говорят, что до самого дня убийства Бартенев был чужим Висновской. Поэтому объяснение Бартенева нуждается еще в подкрепляющих данных; оно нуждается в них и потому еще, что установка взгляда на этот момент важна для понимания момента самого преступления. Висновская, по моему мнению, могла незаметно приучить себя к Бартеневу. Ведь он один относился к ней с уважением, которого не было у других; он так долго страдал; он, по словам его, ей сказанным, не по своей воле не может быть ее мужем; он не на словах, а на деле готов

был расстаться с жизнью, если она не будет его подругой. Это дало место состраданию, жалости к нему, а эти чувства часто с успехом заменяют то, которое она не могла воспитать в себе. Различие этих чувств от любви — некоторая снисходительность к предмету сожаления в противоположность уважению, какое внушает тот, кто вселил любовь. А к этому нас и приводит свидетельство Залесского, умевшего со всей тонкостью художника подметить очень важные черты в отношениях Висновской и Бартенева в период с 26 марта по день преступления: раз он заметил, что сказанная ему Висновской дата отъезда ее за границу совпала с датой, сообщенной ему Бартевым. Это навело его на мысль, что у Бартенева и Висновской — общие интересы, общие планы на жизнь. Другой раз, когда, по случаю какого-то литературного праздника, Залесский предложил и Висновской участие в обеде, она, по его словам, робко и смущенно, как-то нежно и заискивающе спросила его: «А можно со мной быть и моему гусарику»... что убедило его, Залесского, что он ей не чужой, не посторонний, а уже свой, близкий человек. Приняв за доказанное что отношения Висновской и Бартенева с 26 марта и позднее стали близкими, я теперь перейду к изучению той наклонной плоскости, по которой несчастные Висновская и Бартенов шли к своей развязке.

Для Бартенева, полагавшего, что с момента близости отношений начнутся для него золотые дни спокойствия, наступили, напротив, дни новых и новых волнений. Чем-то холодным, нерадующим веяло от этой близости. Игра на сцене уносила все силы Висновской; домой она приходила утомленная, недовольная действительным и кажущимся нерасположением прессы, действительными и мнимыми издевательствами над ее романом со стороны закулисного мирка. В такие минуты Висновская, если даже она была близка к Бартенову, не могла успокоить его теплотой отношений. Вечно задумчивая, вечно смотрящая куда-то мимо интереса момента, она нехотя отвечала на ласки. Подымалась буря сомнения, недоверия, буря тем ужаснее, что она имела объективное основание. Тогда, теряя равновесие, Бартенов искал успокоение в вине и вечеринках с имевшими вход в квартиру Висновской, находя в этом обществе попеременно то пищу для своей ревливой любознательности, то ласкающие его темы разговоров. А Висновской, связавшей себя не любя, запутавшейся в противоречиях слов и чувств, теперь настояло придумать средства отделять и смягчать тяжелые минуты случившегося романа. К этому моменту, вероятно, относится ее мысль о приготовлении особой квартиры, которая успокоит Бартенева, а вместе даст повод сократить его тяжелые визиты в ее дом,

тяжелые — раз близости отношений, допущенных Висновской, не соответствовало с ее стороны желание их.

Я сказал вам, что Висновская была разбитой натурой. Полагаю, что это аксиома настоящего процесса. У таких натур нет цельности ни в поступках, ни тем более — в проектах и мечтах. Поставляемые цели и предпринимаемые ими средства, помимо неблагоприятных обстоятельств, разбиваются о собственное взаимное противоречие.

Случилось то же и тут. Она сошлась, видя в этом исход одним неудачам, и в то же время недовольна и наличным фактом, поэтому ищет средства против него в уединенной квартире. Но в то же время недовольная и всей суммой этих мер и тяготясь ими вообще, она мечтает о поездке в Америку как средстве выйти победоносно из настоящего гнета. Но и об этой поездке у ней двоятся мечты: судя по свидетельству Залесского, можно думать, что в часть этого плана был посвящен и Бартенев, собиравшийся в заграничный отпуск и мечтавший о службе при посольстве; но рядом сформировался и другой план — поездкой покончить с Бартеневым и, разорвав с ним, вернуться в Варшаву уже через год, когда уляжется история и отвыкнут от нее прошлогодние поклонники вместе с Бартеневым.

По всей вероятности, Бартенев кое-что узнал про второй план в тот день, в который он прислал ей письмо и вещи, оставленные ею у него на память (портреты, зонтик), вместе с ее записками.

Разрывая с Висновской всерьез или самообольщаясь в решительности своего поступка, оскорбленный тем, что, значит, над ним смеялись, когда посылали его приискивать квартиру, отвлекая его доверчивую натуру вымышленным опасением огласки связи в постоянной квартире покойной, Бартенев писал, что он покончит с собой. Угроза и обстановка ее, выразившаяся в отсылке всего, чем он дорожил, испугали Висновскую. Мысль о том, что человек покончит из-за нее, что она увлекла его так далеко и вдохнула в него такую пагубную страсть, поразила ее. Она в полночь нанимает карету и едет к нему, чтобы не брать на душу чужой жизни. Он жив, он выходит к ней, и она, сажая его в свой экипаж, на этот раз словами, сказанными искренне взволнованным голосом, рассеивает его сомнение и едет с ним посмотреть квартиру, куда она, сегодня усталая, завтра непременно придет и они заживут украдкой общей жизнью.

От ревности не оставалось ничего... Завтра, если сегодняшнее общение не окажется обманом, опять вспыхнет сомнение, но до завтра он по-своему счастлив и горд.

Завтра пришло, и наступил условный час. Висновская не

обманула его, а, напротив, явилась с явным намерением исполнить его желания и посещать эту квартиру. Она захватила с собой даже принадлежности спального наряда (пеньюар). На ласки Бартенева она отвечала лаской. Время проходило среди веселых разговоров и лакомого ужина. Соседи не слышали ни ссоры, ни приступа ревнивого сомнения; напротив, делалось все, что вырывает это сомнение. Если же, тем не менее это свидание закончилось убийством, которое, как грозный и неоспоримый факт, стоит перед нами и требует своей оценки, то нужно понять его.

Ревность к Палицыну или из-за Палицына — вот первое предположение. Оно не выдерживает критики. Если бы Висновская интересовалась генералом и предпочла его Бартеневу, она не запуталась бы в своей истории: рассчитывая на силу и положение его, она не нуждалась бы заискивать и в Бартенева.

Если бы Бартенева ревновал генерала Палицына и ненавидел его за ухаживание за Висновской, смерть могла грозить генералу, а не Висновской, особенно в минуты, когда она доказывала свое равнодушие к генералу, если он и на самом деле ею интересовался.

Ревнивец может убить отталкивающую его женщину, это правда; но в том-то и дело, что она только что полнее и, по-видимому, безогляднее отдалась ему. Вчера она, чего не делала раньше, приехала к нему в казармы ночью, подписывая, таким образом, приговор себе как гласной подруге Бартенева; сегодня она у него в квартире... Все это разгоняло, а не надвигало тучи сомнений у подсудимого.

Отсутствию мотива с его стороны соответствуют и внешние данные: яд и орудия убийства везет тот, кому они нужны для задуманной цели. Но мы не имеем ни одного сносного доказательства, что их принес Бартенева. Наоборот, прислуга Висновской видала, револьвер был завернут в сверток при уходе Висновской из дому; она уже узнала яды, найденные в комнате убийства, как бывшие в руках Висновской. Попытка противопоставить свидетелей противоположного — не серьезна. Если портниха, к которой заезжала Висновская, ехав к месту своей смерти, не видала у нее при входе и выходе из магазина свертка с револьвером, то не надо забывать, что сверток, не нужный для разговоров с портнихой, мог быть оставлен у извозчика, с которым к Бартенева ехала покойная. Но зачем ядам и револьверу быть у Висновской и зачем ей везти их в общую квартиру? Конечно, не для убийства Бартенева и не для самоубийства; у нее была иная причина и иной возможный мотив. Вы знаете, что и Висновская и Бартенева давно играли в смерть, прежде чем один из них нашел

настоящую. Смертью они испытывали и пугали друг друга. Но Висновская еще не хотела настоящей, заправской смерти, и, когда поддавшийся ее настроению Бартенев хотел покончить с собой, она оставила его у себя, как бы уничтожая одну из вероятностей его расчета с жизнью. Накануне, когда он вновь заговорил на тему, ею же в нем развитую, она остановила его, обещая утешами жизни успокоить его.

Со своей стороны, отдававшийся ей до самозабвения Бартенев, принимавший ее меланхолическую игру в смерть за твердую решимость, тревожился за нее, особенно когда, подчиняясь ее воле, он сам же достал ей яды. Вот порешив посетить таинственную квартиру и тем привязать Бартенева к жизни, Висновская представила себе сцену, которая должна выбросить у Бартенева мысль о смерти и обеспечить ее от принятия на духу греха за чужую жизнь. Она несла ему его револьвер с целью возвратит его и выразить уверенность, что теперь он будет жить, ибо причины, наводящие на самоубийство, устранены. «Но ведь и он будет требовать от меня доказательств, что я нашла в союзе с ним интерес к жизни и изгнала мечты о смерти. Вот я отдам ему мои яды как доказательство, что наши невзгоды миновали».

Свидание участников драмы шло обычным путем бытовых сцен. Они весело разговаривали, и она позволяла ему ласкать себя. Небогатая внутренними силами натура Бартенева вся ушла в самоуслаждение. Ему казалось, что теперь нет никакого интереса, о котором можно было бы думать и говорить, кроме взаимного обладания. В сотый раз переговаривал он ей избитые любовные темы и не понимал, как может ей приходиться на ум что-либо постороннее и чуждое интересам данной минуты. Но не то переживала Висновская. Ненося в сердце ничего к Бартеневу или только снисходительное сожаление, переходившее в привычку к нему как к своему человеку, нервно разбитая впечатлениями прошлой ночи и излишествами настоящей, увлекаемая образами своей фантазии в массу тяжелых ощущений не настоящими или грядущими, а возможными только в будущем осложнениями своей жизни, Висновская незаметно дала иное настроение их свиданию.

Если она и порешила было помириться с положением тайной подруги Бартенева и связать с ним свою судьбу, то, думалось ей, не поведет ли это к новым и новым несчастьям: сегодня он по-своему счастлив, верит ей и верит в свою решимость рано или поздно дать ей свое имя и положение, но пройдет несколько времени, привыкнет он к своему новому положению, безвольный и слабый, он не найдет сил противоречить отцу и не выйдет из того ложного положения, в которое ее сегодня ставит. А там, успокоившись, он, может быть,

иными глазами посмотрит на ее прошлые ошибки, иначе отнесется к ним и, как все, упреками и угрозами отравит ей жизнь...

А между тем, что же она делает? Гласно — ведь недолго же на самом деле продержится тайна их связи — разорвав со своими друзьями по сцене и профессии, гласно предпочтя чужого своим, она приобретает массу недругов и недоброжелателей. Сцена уходит от нее.

Уехать? куда? в Америку? Но ведь не так легко добыть славу на чужбине, не имея ни достаточных средств, ни достаточной подготовки. Уехать с ним? Но он будет только обузой для нее, да и не на что ему ехать.

Не все из того, что она переживала, она ему сказала. На словах, по вечной привычке ласкать словом своего поклонника, она выдвигала другую тему. Она говорила о том, что жизнь ее полна страданий, ибо то, что дается другим легко, ей дается путем страшных жертв. «Вот я собираюсь далеко. Не думаешь ли, что мне это так и дается? Нет, мою свободу мне уступают дорогой ценой. Тот, кто меня отпускает, требует, чтобы я две недели погостила у него в деревне». Зачем она это говорила и искренне ли жаловалась на то, о чем говорила, — ее дело. Не хочу догадываться о цели слов, но могу себе представить след, который они оставили в впечатлительном к слову Висновской Бартеневе.

И вот оба неудачника, оба изломанные жизнью или ошибками воспитания, они начинают поддаваться влиянию любимой темы своих прошлых свиданий, один другого опьяняя мечтами вслух о могильном покое, о прекращении земных страданий и бесцельности жизни, о мрачном будущем их общей судьбы.

Не забудьте, что все это говорится в чаду виновных паров и в утомлении эксцессами чувственных отношений.

Игра в смерть перешла в грозную действительность. Они готовятся к смерти, они пишут записки, кончая расчетом с жизнью. Мое дело доказать, что эти записки не результат насилия одного над другим, а следствие обоюдного сознания, что с жизнью надо покончить. Но прежде всего не забудем, что в желудке покойной найден опиум и констатированы следы употребления хлороформа.

Можно насильно застрелить, удушить или утопить, но насильно отравить, не вызывая у жертвы крика протеста, попыток борьбы — нельзя. Отрава — убийство тайное: ее дают обманом жертве, если она не хочет добровольной смерти. Вы знаете, что ни призыва на помощь со стороны Висновской, ни следов борьбы за жизнь с ее стороны не констатировано.

Записки, оставленные покойной и восстановленные из лос-

кутков, найденных в комнате, где произошло убийство, и сравнение их с записками, писанными Бартеневым, доказывают не насилие, а сговор Бартенева и Висновской к обоюдной смерти.

Вопреки мнению экспертов, я думаю, что оставшаяся целой записка писана позднее разорванных, что, следовательно, уничтожение последних — дело рук покойной.

Единственное соображение экспертизы основано на том факте, несомненно верном, что записка целая писана хорошо очиненным карандашом, а уничтоженная — в порядке, указанном в акте осмотра, — карандашом, постепенно исписывавшимся.

Но, имея с собой перочинный нож или ножи для ужина, Бартенев и Висновская могли начать писать исписанным карандашом и починить его, когда он отказался далее служить им.

Моя собственная экспертиза, думается мне, вернее: она основана на изучении текста. За исключением записки к Палицыну о деньгах, прочие записки Висновской писаны к одному и тому же лицу и об одном и том же лице. Все они начинаются словами «человек этот» или заключают эту фразу в тексте. Во всех прощание с матерью и искусством и отсутствие какого-либо специального содержания, различающего их одну от другой и указывающего на особые цели каждой записки. Это одна и та же записка в неудачных редакциях, уничтоженная ради последней, удовлетворившей пишущую. Ясно, что чего-то добивалась покойная от себя, чем-то была озабочена, не находя долго подходящего выражения для предложенной цели.

Цель эту нам раскрыла одна подробность, здесь обнаруженная на суде. Покойную, говорят нам, не предали земле с последними обрядами церкви. Это глубоко печалит ее неутешную мать. Позволю себе догадку: покойная любила мать и даже в минуты смерти, приготовленной, по недостатку данных, не поддающихся удовлетворительному анализу, припадками обоюдного разочарования жизнью, помнила о ней. Ее записки к Палицыну — посильная забота о материальных нуждах старушки, ее другие записки — попытка обставить свою смерть такими подробностями, чтобы истинная форма ее не обнаружилась и не дала повода заподозрить самоубийство или согласие на расчет с жизнью. Тогда ее похоронят, и ей по смерти и пережившей ее матери не будет тяжело.

Вот, добиваясь удовлетворительной редакции своего последнего слова, редакции, замаскировывающей ее согласие на смерть, рвала Висновская неудачные записки, пока не остановилась на последней.

Что во время писания этих записок над ней не стоял человек, желающий только ее смерти, а рядом с ней сводил счеты своей жизни, это ясно из слов его записок. Подобно ей, он писал к родным и друзьям, подобно ей и он просил о последнем долге христианском, умоляя не видеть в нем самоубийцы и убийцы и высказывая упрек тем, кто не хотел его счастья.

Что над ней стоял не убийца, который уйдет, как только покончит с ней, а подобный ей неудачник, долженствующий тут же рядом с ней умереть, она не сомневалась. Во всех ее записках и помину нет об имени или фамилии Бартенева. Она называет его просто «этот человек», предполагая, что нет надобности указывать убийцу, ибо он будет тут же, рядом с ней покоиться, не признавая жизни без нее.

Что эти бартеневские записки — не измышление с целью спасти себя, что разорванные записки Висновской разорваны не им с той же целью — это ясно. Желай Бартенев уничтожить вредные для него записки, то раз у него не хватило духа около трупа когда-то для него интересной женщины заниматься выбором документа, наиболее подходящего к цели самозащиты, неужели не сообразил бы он, что, вместо того чтобы неудобные записки рвать в клочки и тут же кидать, у него в распоряжении лучшее средство: взять их с собой и бросить, разорвав в клочки, на улице. Ведь Варшава велика, и не станут же подбирать все бумажные клочки, валяющиеся на улицах города.

Говорят, что бартеневские записки вымышленны, ибо одна из них — к отцу — упрекает последнего в том, в чем он даже и не виноват. Бартенев ведь с отцом о браке не говорил, отказа не получал, а следовательно, и упрекать отца ему не приходилось.

Правда. Но сын не говорил отцу о браке, потому что не мог рассчитывать на его согласие. Вероятно, во всем складе отношений отца к сыну, может быть, в его суровости или неуступчивости лежали причина боязни сына говорить с отцом на такую тему, и вот в последнем письме сын бросал отцу упрек за тот образ отношений, который делал невозможным со стороны сына даже попытку к просьбе о браке по его личной склонности, а не по одобрению отца.

Отчего же он, покончив с Висновской, сам остался жив? Да, это тяжелое обстоятельство в деле, лишаящее подсудимого того состояния, в каком мы не отказываем памяти несчастных убийц из-за любви, когда они тут же произносят над собой смертный приговор. Обвинение в трусости напрашивается на язык. Но едва ли это так. Живя среди сверстников, подобно ему избравших своей профессией военное дело, дыша

воздухом, в котором нет места боязни смерти, где готовность в необходимые минуты жертвовать своей жизнью — долг, с которым не спорят, Бартенев не мог быть трусом.

Иначе объясняя себе я то, что он остался живым. Бартенев весь ушел в Висновскую. Она была его жизнью, его волей, его законом. Вели она, он пожертвует жизнью, лишь бы она своими хорошими и ласкающими глазами смотрела на него в минуту самопожертвования. Но она велела ему убить ее прежде; чем убить себя. Он исполнил страшный приказ. Но едва этот дорогой для него образ закрылся, едва печать смерти навсегда сомкнула ее глаза, в которые он так любил глядеть и догадываться о желаниях, их одушевляющих, чтобы поспешить исполнить их, он потерялся: хозяина его души не стало, не было больше той живой силы, которая по своему произволу могла толкать его на доброе и на злое, на отчаянный подвиг и на робкое молчание.

Что было потом, мы не знаем того. Сколько продолжался столбняк ужаса, когда он увидел, что он сделал, определить трудно. Но только не заботой о своем спасении был занят несчастный Бартенев. Не ненавистью, а какой-то нежностью звучали его слова, когда он сказал товарищу: «Я убил Маню».

Дальнейшее общеизвестно. Бартенев заявил о своем преступлении без всякой попытки избежать кары. Его показание, прочитанное здесь, дано без всяких советов или убеждений со стороны власти. Его он подтвердил и здесь, на суде. Можно по-разному относиться к тому или другому его объяснению, но нельзя уличить его даже в малейшей неправде рассказа. Он — преступник, но он не призвал лжи на помощь к себе. Преступление его велико. О невменении зла в вину он не помышляет. Но было бы жестоко думать о том, как бы тяжелее и суровее применить к нему карающее слово закона. Было бы ошибкой думать, что в суровости задачи карающего правосудия и суровостью судья приближается к намерениям законодателя. Нет, слово закон напоминает угрозы матери детям. Пока нет вины, она обещает жесткие меры непокорному сыну, но едва настанет необходимость наказания, любовь материнского сердца ищет всякого повода смягчить необходимую меру казни.

Еще не было примера, чтобы судье дозволялось, не удовлетворяясь указанными карами, просить об увеличении наказания. Но если особые обстоятельства дела возбуждают чувство сожаления к подсудимому, если обстановка преступления указывает на плетеницу зла и несчастия в ошибках, приведших подсудимого к преступлению, то возможно смягчение наказания.

В данных настоящего дела много этих смягчающих мотивов.

вов. Многие из них имеют за себя не только фактические, но даже и юридические основания. Если не точная буква закона, то либо цели его, либо мнения сведущих в праве людей, либо опыт чужих законодательств и подмеченная неполнота нашего права говорят о возможности менее сурового приговора. Мой товарищ по защите представит в кратком очерке доводы в этом направлении. Я, как вы слышали, ограничился данными бытовой стороны дела, я говорил о тех пережитых Бартеневым моментах, которые разделяют вину преступления между ним и его жертвой. О, если бы мертвые могли подавать голос по делам, их касающимся, я отдал бы дело Бартенева на суд Висновской. Впрочем, оставленные ею записки отчасти свидетельствуют об ее взгляде на роковую развязку. «Человек этот, убивая меня, поступает справедливо, он — правосудие», — писала она. Я не хочу видеть в этих словах голос правдивой нравственной оценки занимающего нас события: Висновская не доросла до роли учителя морали. Но я хочу убедить вас собственными словами покойной, что она считала себя глубоко виновной перед Бартеневым, а это сознание — основание между многими другими к пощаде подсудимого, так как убийцы не исключены из категории лиц, относительно которых допустимо снисхождение.

Вот и все, что я мог сказать за Бартенева. Обвинитель согласится со мной, что я был прав, сказав, что между нами нет непримиримых противоречий. Он требует справедливого приговора, — я напоминаю и ходатайствую о сочетании в нем правды с милосердием, долга судьи с прекрасными обязанностями человеколюбия.

* * *

Бартенев был признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 8 годам каторжных работ. Однако по «высочайшему повелению» каторжные работы ему были заменены разжалованием в рядовые.

III. ОБРАЗЦЫ СОВРЕМЕННОГО ЦЕРКОВНОГО КРАСНОРЕЧИЯ

Проповеди отца Александра Меня

Притча о богаче Лазаре

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Если вы внимательно слушали сегодняшнее Евангелие, то слышали, что притча Христова заканчивается словами: «Если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Господь изображает страдание души, ушедшей из этой жизни, страдание и муки человека, который, наконец, понял, куда надо было отдавать силы, как надо было жить. И вот, мучаясь, плача о тех близких, которые остались, он думает, может быть, как-то я сумею их предупредить. И он молит, чтобы ожил умерший, явился им и предостерег их о том, что не надо тратить драгоценную жизнь всеу и понапрасну. Но ему был ответ, что они имеют Священное Писание и этого им вполне достаточно, для того чтобы знать, как жить здесь на земле. Но он говорит, нет, этого им мало, может быть, если кто воскреснет из мертвых и явится им, тогда поверят. И отвечает этой душе Слово: нет, если они не слушают Священное Писание, то даже если кто и из мертвых воскреснет, не поверят.

Смотрите, какое жесткое слово и как бы странное: неужели люди не будут тронуты таким необычайным явлением, явлением мертвого? А между тем жизнь нам показывает, что самые большие знамения, самые удивительные чудеса никогда не могли поколебать сердце, которое ожесточилось, которое замкнулось в себе, которое отказалось от веры, не желало верить. Я сам прекрасно знаю много случаев в жизни, когда люди имели такие знамения, когда Господь к ним стучался, а они не только не открывали Ему на этот стук, но постарались еще плотнее закрыть свои двери. И тут мы спрашиваем себя: как это может быть, откуда рождается это неверие, это нежелание услышать голос Божий?

Для нас это вопрос не праздный, потому что множество близких наших и вообще окружающих людей живут в таком состоянии. И поэтому мы не можем не задуматься над тем, откуда это зло является. Прежде всего мы, конечно, знаем, что люди не хотят задумываться, потому что не хотят жить ответственно, не хотят жить так, как велит им совесть. Поэтому они и закрывают двери своего сердца от веры и от ее требований. Потому что жить перед лицом Христовым, жить перед лицом веры — это не значит есть, пить, спать, вставать, работать — это значит всегда и непрестанно находиться в служении Ему. И вот, не желая принимать этой ответственности, не желая принимать выбора добра и зла, люди отмахиваются от голоса Божия и от этого призыва. Другие стараются себя успокоить тем, что ни Господь, ни силы духовные нам не видны, нашим земным глазам не открываются. И они говорят нам мы привыкли видеть только то, что видят наши глаза, и привыкли верить только тому, что ощупывают наши руки.

Но на самом деле далеко не все в мире можно пощупать руками. Наоборот, самое великое, самое драгоценное, как вы знаете, нельзя ни увидеть глазами, ни руками пощупать. Доброе сердце, праведную мысль, чувства человеческие — все это нельзя ни увидеть, ни ощутить, ни измерить.

Зато о делах Господних мы с вами всегда имеем свидетельства в окружающем нас мире. Как говорит нам псалмопевец: «Небеса проповедуют славу Божию, и творение рук Его возвещает твердь». Вот утром сегодня вставало солнце. Что было бы, если бы солнце было ближе к нашей земле? Оно бы все сожгло. И никакая трава и никакое живое существо не могло бы жить на земле. А что, если солнце было бы дальше от нас? Вся земля была бы покрыта холодными глыбами скалами, и тоже нельзя было бы на ней жить. А что было бы, если бы вращалась земля не так, как она вращается теперь? Если бы ночь у нас длилась гораздо дольше и день был бы дольше? Это тоже было бы великим бедствием для земли, и жизнь на ней могла бы развиваться с величайшим трудом.

Кто же это устроил так, чтобы именно нам было все дано для жизни, чтобы нас не сожгло солнце и чтобы оно нас не лишило своих лучей, чтобы мы имели день и ночь и пищу для себя? Кто дал нам глаза, чтобы видеть свет, и руки, которые повинуются нашему разуму? Кто дал крылья летящей птице? Кто дал законы для звезды, которая движется в пространстве небесном? Кто дал силы для таинственных существ, о которых мы только теперь догадываемся? Всюду в мире свидетельства о Божией Силе и Славе.

Итак, если мы не видим Господа своими земными очами,

то мы видим Его дела. Но есть у нас и другие глаза — глаза веры, глаза любви. Каждый человек в молитве может увидеть Бога также ясно, как мы видим свет Божий. Если же у нас это не получается, то только по черствости и по лености нашей души.

Но есть еще одна причина неверия. Причина эта заключается в том, что люди не могут отделить «веру» от тех, кто ее исповедует. Они видят злые, недостойные дела верующих людей и отвращаются. Видят их темноту, их озлобленность, их неумение жить среди людей и отвращаются от веры. И это уже относится, дорогие мои, к нам. Мы являемся третьей и самой важной, самой главной причиной, которая в сердцах человеческих укрепляет неверие. Потому что мы — плохие представители Христовы, мы плохие свидетели о Нем. Часто, часто должны мы себя спрашивать: действительно ли мы живем так, как нам заповедал Господь? Действительно ли мы по слову Его стараемся делать другим то, что хотим, чтобы делали нам? Действительно ли мы умеем прощать людям? Действительно ли мы умеем не осуждать, а жалеть грешников? Действительно ли мы умеем в сердце своем носить Христа, а не злобу, мелочность и зависть? Действительно ли свет Христов просвещает нас и окружающих нас? И когда мы себя об этом спрашиваем, то с горечью отвечаем: нет, только по названию мы являемся верующими, а делами своими, самим обликом своим, самой душой своею мы не похожи на свидетелей Господа.

И вот тут-то оказывается, что вина великая лежит на нас. И когда мы скорбим о наших детях, внуках, братьях, мужьях, когда скорбим о наших близких и далеких людях, которые не имеют этого великого света, вспомним, что часть вины лежит за это на нас. И если мы хотим, чтобы свет Христов, просвещающий и освещающий всякого человека, который открыт к Нему, просветил и тех кого мы любим, пусть в нас воссияет Его мир, радость, добро, мужество, долготерпение, доброжелательство, смирение, неосуждение, благоговение и все то, что заповедал Христос Господь. И тогда недуг неверия, который поражает людей, будет встречать с нашей стороны сопротивление и борьбу. Мы не помогать будем этому недугу, а воевать против него и тем самым послужим делу Господа нашего, который призывает каждого идти по Его пути. Аминь.

Обращение Закхей

Однажды, давным-давно, корабль пристал к далекому берегу, куда еще не ступала нога белого человека. И там моря-

ки нашли поселение дикарей, с которыми они вынуждены были долгое время на острове жить. Корабль надо было чинить, и им пришлось делить свою жизнь с этими людьми, которые не знали ни железа, никаких инструментов, поклонялись языческим богам и жили в лесу. На корабле был священник, который пытался узнать, что же за вера у этих дикарей? И конечно, он с презрением относился к ним: дикие, невежественные, темные люди. Но когда он немножко овладел их языком, он заметил, что они часто упоминают какое-то имя. Он спросил: кто это такой? Тогда дикарь удивленно посмотрел на него и сказал: «Как? Разве ты не знаешь? Это тот самый, который сделал все: и море, и небо, и землю». Тогда священник понял, что напрасно презирал этих людей, что у них в сердце, диком их сердце, жило понятие о Боге.

Сегодня мы знаем, что большая часть людей во всех концах мира так или иначе знает о Боге и верует в Бога, может быть, смутно, может быть, еще более смутно, чем те дикари, но все-таки все знают, что что-то есть над нами, кто-то управляет миром. Иногда это называют судьбой, но все равно люди верят, что в мироздании есть какой-то смысл. Так вот, вера в Бога — есть общая вера всего человеческого рода.

А мы с вами отличаемся от всего человеческого рода, потому что у нас не просто вера в Бога, а нам открылся Бог Спаситель во Христе, который пришел в мир и взял на себя бремя наших вин, нашего несовершенства, наших грехов. Это тот бесконечный Бог, который стал Спасителем для нас, с которым мы можем говорить, как говорим с другом и близким, к которому мы можем взывать, как взывают к матери и отцу, который есть Распятый за нас Христос Иисус Назаретянин. Вот почему мы называемся не просто верующие, а христиане, потому что мы знаем спасение во Христе.

Иногда бывает, что мы забываем об этом, и я сегодня хочу вам об этом напомнить. Посмотрите на Господа, распятого перед вами: вот Его объятия обращены к вам. Его кровь — это Его любовь к каждому человеку. «Я для того пришел, — говорит Он, — чтобы ни один не погиб, чтобы каждый получил участие жизни вечной».

Как же увидите Господа? Сегодня вы слушали про мытаря Закхея. Он жил в городе Иерихоне, когда Господь Иисус проповедовал на земле. Узнал он, что идет Иисус, и захотелось ему увидеть Его. Но он был маленького роста, а ему так хотелось увидеть Христа Спасителя, что он не постеснялся людей, полез на дерево, и посмотрел, и увидел Его. И Господь почувствовал его стремление, взглянул на дерево, и видит — там сидит человек, сборщик налогов. Господь сказал ему: «Спускайся, Я СЕГОДНЯ ночевать буду у тебя». И тот,

сам себе не веря от радости, спустился и принял в этот вечер Господа в свой дом. Многие люди недоумевали: «Почему Он выбрал дом этого негодного человека?» А выбрал Он потому, что тому хотелось Его увидеть.

Каждый из нас, если он хочет быть не просто верующим, смутно верующим, а настоящим христианином, должен всегда любить Христа Спасителя, искать Его всем своим существом, всей своей верой, всей своей любовью тянуться к Нему. Слово Его — в Евангелии, дух Его — в Церкви, присутствие Его — здесь, сегодня, в таинствах. Вот Он сказал: «Я буду с вами», — и Он здесь с нами, какие бы мы ни были, — слабые, убогие, а Он с нами.

Так вот, мы все, как Закхей: он был мал ростом физическим, телесным, а мы малы ростом духовным: ленивые, вялые, на молитвы подвигающие себя как бы из-под палки, открывающие слово Божие и дремлющие над его страницами, мы малы ростом — мелко живем, мелко думаем, мелко чувствуем. Как можем мы увидеть Господа? Подняться надо, ни на что не обращая внимания, как Закхей.

Поднимитесь, постарайтесь, чтоб в вашей жизни были высокие минуты, и тогда вы увидите светлый лик Спасителя, который тогда скажет: «Сегодня Я приду к тебе». И ты почувствуешь тогда, что это значит, когда к тебе в сердце приходит Христос Господь. Тогда все решается, все вопросы отпадают, все сомнения рушатся, все печали улечиваются, потому что Господь с тобой — и ты у Него в руках. Он в твоём сердце — и ты с Ним. Вот как это важно нам, — стремиться увидеть Господа. Кто хочет быть христианином настоящим, да уподобится этому Закхею, маленькому, но поднявшемуся и увидевшему Господа. Аминь.

Притча о брачном Пире

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Сегодня мы с вами слышали притчу о царе, устроившем пир, позвавшем всех на это великое торжество. Но вместо того, чтобы откликнуться с радостью прийти на праздник царский, многие люди отказались. Друзья этого царя сказали, что у них есть свои занятия, свои дела, и не пришли к нему. А многие встретили посланцев царя с насмешкой, с угрозами, а были и такие, которые, чтобы досадить царю, даже убили посланных. И тогда царь, видя, что он напрасно ждет призванных, послал своих слуг и сказал: «Дом мой полон, все на столах, все приготовлено. Что же я буду один в пустом доме находиться? Будет мой праздник мрачен. Пойдите по

всем улицам! Всех бродяг, всех нищих, всех, кого встретите на дороге, — всех зовите, чтобы был зал наш полон».

И вот они пошли по всем дорогам и созвали множество людей, так что дом царский наполнился. Но, конечно, каждый человек, узнав, что его приглашают в дом царя, постарался привести себя в порядок, надел лучшую одежду, которая у него была. А один человек, об этом не побеспокоился, пришел, как был, в грязной рабочей одежде и сел за стол. А по понятиям того времени, для хозяина это было большой обидой. И царь во время пира, обходя зал, увидел человека, который сидел в грязной, рваной одежде и ел вместе с другими. Тогда он подошел к нему и сказал: «Как ты мог прийти на мой пир в такой одежде?» И велел вывести этого человека вон.

Такова притча, которую Господь рассказывал, наверное, не раз, потому что в Евангелиях мы находим ее по-разному изложенную. Значит, Он считал, что в ней заключено нечто очень важное для нас. И вот сегодня я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Первая: Господь зовет всех. Ведь когда ударяет колокол и начинается Божественная Литургия, всех созывает Он. Вы, наверно, знаете, что в некоторые моменты службы полагается звонить в колокол для того, чтобы люди, которые не имеют возможности быть в Храме, мысленно перенеслись душою в церковь и помолились вместе со всеми, зная, что здесь совершается Таинство.

Господь постоянно призывает к Себе людей и часто слышит в ответ: «Нет, я не могу прийти к Тебе. Нет, мне некогда, я занят, я погружен в свои дела».

Господь призывает нас не только, когда звучит колокол, не только, когда идет служба в храме, но призывает нас всегда. Вспомните те обстоятельства вашей жизни, которые навели на мысль, что это есть призыв Божий, призыв очнуться, опомниться, переменить вашу жизнь. Стучит Господь в наши двери, но мы говорим: «Подожди, Господи, мне некогда теперь». И как те люди, которые отказывались прийти — один говорил: «У меня свадьба», другой купил себе волов и хотел их испробовать на пашне, — так и мы говорим: «Подожди, Господи! У меня столько забот: у меня семья, дети, множество трудов. Потом когда-нибудь я откликнусь на Твой голос». И так проходит целая жизнь. И когда отворяются перед нами ворота иного мира, оказывается, что мы были ослушниками. Мы были глухи к голосу Божию, призывающему нас.

Он призывает нас всегда и повседневно. Когда вы встаете утром, даже сам восход солнца должен быть для нас призывом Божиим. Господь поднимает перед нами светило. Господь дает нам пищу. Почему мы, садясь за стол, должны пе-

рекреститься или мысленно хотя бы прочесть молитву? Потому что пища, которая перед нами, напоминает нам о Том, Кто нам дал ее, Кто дал нам хлеб насущный. Радость приводит нас к благодарению. Печаль напоминает нам о необходимости терпения. Всегда и во всем мире мы слышим призывный колокол.

Господь зовет: придите ко Мне все. Когда мы открываем Слово Божие, мы слышим там Его слова: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные». А кто из нас не труждающийся? Кто из нас не обременен тем или иным? Зовет Господь и говорит печально: «Много званых, но мало избранных». Мало тех, кто услышали Его голос. Мало пришедших. Для Него это скорбь, потому что Он пришел на землю, чтобы каждый был спасен.

Но вот мы с вами здесь собрались. Мы, казалось бы, услышали этот призывный голос, мы пришли пред Его лицо, и сегодня те, которые причащались, приняли участие в Его тайной вечере. Может, этого уже довольно? Достаточно этого?

Но теперь вспомним вторую половину притчи. Вспомним о том, что человек, который был приведен в зал, потом был изгнан оттуда. Почему? Потому, что иные из нас, придя к Богу, думают, что они совершили подвиг, чуть ли не милость оказали. Как будто это нужно было не нам, а только Господу Богу. И поэтому приходим со своими грехами без покаяния, а так, как мы есть: «Вот я пришел, и благодари меня за то, что я перед Тобой».

Каждый из нас несет в своем сердце бремя суетности, зависти, невоздержания, нетерпения, злобы и многого другого. Каждый из нас, когда наступает время исповеди, может заглянуть в свою душу, как в зеркало, и увидеть все это. Вместо того чтобы стараться в тот день и час, когда приходишь к Нему, в Его царский дом, к Его трапезе, очистить свое сердце, мы стараемся себя оправдать и говорим себе: «Пусть Он примет меня таким, какой я есть».

Нет, этого мало. То, что мы здесь, это не одолжение Богу. А это значит, что мы откликнулись на Его призыв и несем ответственность за свой шаг. Пришли в Храм — значит, с нас вдвойне спрос. И не надо думать, что те, кто остался за порогом Храма, кто не имеет веры, хуже нас. Они часто лучше нас. Господь спросит с нас по своему закону, который мы знаем, а с них будет спрашивать по их закону.

Если мы приходим сюда и ничем не отличаемся от язычников, если мы в храм приносим чванство, злобу, осуждение друг друга и всю эту грязь в святое место тащим, то разве мы этим служим Богу? Мы похожи на того человека, который в

сапожищах пришел в царский дворец и расселся там, воображая, что он порадовал царя. А царь сказал: «Свяжите его и выкиньте вон, во тьму внешнюю». Так вот, мы должны помнить, что не заслуга вовсе и не достоинство наше, что мы христиане. А это значит, что мы будем спрошены теперь уже по-другому. Звал Господь нас? Звал. Но звал вовсе не для того, чтобы мы, придя к Нему, оставались сынами века сего, сынами греха, которые не желают расстаться с ним.

Вот, дорогие мои, о чем нам напоминает эта притча. Идя сегодня домой, пусть каждый себе задаст вопрос: «Вот я откликнулся на Божий призыв. Но был ли я достоин этого? Достоин того, чтобы Господь меня к Себе призвал и принял?» И если ответите вы: «нет», тогда не будем отчаиваться, а скажем: «Пусть покаяние очистит меня, чтоб грязная моя одежда сменилась одеждой чистой, данной Им, по Его бесконечному прощению». Аминь.

Мысли о вечном **(Воскресная проповедь архиепископа Кирилла)**

Мне бы хотелось сказать сегодня несколько слов о милосердии. Это слово прочно вошло в наш общественный лексикон. И даже появляется опасность, что оно будет затаскано, превратится в своеобразный стереотип. Это происходит или может произойти оттого, что слово это часто употребляется не по своему прямому назначению и покрывает иную реальность, чем та, которая должна была бы соответствовать этому слову.

Милость (добро) и сердце — два слова, соединенные в одно. Всегда это означало, что под милосердием подразумевается делание добра, милости, бескорыстное, идущее от человеческого сердца. Под словом же сердце христианская традиция, да и наша древняя народная традиция, всегда подразумевала область человеческих чувств. Это означает, что милосердие есть такое делание добра, которое требует вовлечения человека, его чувств, сопереживания.

Недавно я прочитал статью о том, как один трудовой коллектив перечислил на счет дома престарелых часть своей прибыли и сделал, казалось, очень хорошее и доброе дело. Но вот что удивительно: не почувствовали этого доброго дела несчастные насельники дома престарелых. Почему так? Может быть, хозяйственники неправильно распорядились этими деньгами, а может быть, не почувствовали эти люди реального соучастия с их горькой судьбой, реального милосердия?

Я предвижу вопрос: соучастие с чьим-то горем? А разве в нашей жизни мало горя, неприятностей, трудностей, скорбей да и, в конце концов, вот этой повседневной суеты, которая кружит голову и мешает людям жить иногда нормальной, спокойной и целостной жизнью? Много мы говорим о дефицитах, о длинных очередях, о потере человеческого достоинства в погоне за пищей, одеждой, ставшем уже нарицательным мылом и зубной пастой. Своевременно ли в это трудное время говорить о соучастии другому горю, другому страждущему человеку?

Давайте представим себе такую ситуацию. Идем мы по улице, подходит к нам прохожий и спрашивает нас: «Кто твой ближний?» Вопрос будет казаться нам удивительно странным. Кажется, что на него существует только один нормальный ответ, который покоится на всем нашем опыте. Это наши близкие, родные: отец, мать, жена, муж, дети, братья, сестры, ну, наконец, друзья, ну, коллеги по работе. И какой же необычайный ответ последовал на этот странный вопрос: «Сотворивший ему милость». Давайте задумаемся над этим ответом. Так ли он невероятен, так ли он удивителен?

Ведь что происходит, когда люди сближаются друг с другом, когда они становятся ближними по отношению друг к другу? Ведь это сближение происходит на уровне внутренней духовной жизни человека, на уровне сознания, воли, чувств, то есть на том уровне, который именуется, по крайней мере, в христианской традиции, человеческой душой, которую мы называем, в широком смысле, внутренним человеческим миром. Вот там происходит сближение. Но ведь внутренний мир человека — это не пустая комната, это не вакуум, в этой комнате и в этом пространстве мы сами.

Так что же означает сблизиться с человеком? А это означает: в этом внутреннем мире уступить ему часть пространства, часть места. За счет кого? За счет самого себя, за счет своего собственного Я. И когда мы внутри самого себя уступаем частицу этого внутреннего пространства нашему ближнему, то мы с ним сближаемся.

Опыт подсказывает, что ни физическое родство и ни штамп в паспорте не обеспечивают подлинной близости людей. Ведь нередко люди чувствуют себя совершенно одинокими, потерянными, непонятыми, отчужденными в своей собственной семье, в окружении своих физически казалось бы близких людей.

Ну а там, где мы отдаем часть своего собственного Я другому: будь то отец или мать, муж или жена, брат или сестра, или друг, или коллега по работе, или даже совершенно незнакомый человек? Ведь там происходит нечто совершенно

иное: этот человек входит в меня, он становится частью моего внутреннего Я. И происходит подлинное сближение людей. И опять-таки опыт жизни, не чья-то мудрость, не чья-то философия, а самый великий и сильный аргумент: опыт нашей жизни — свидетельствует, что такое сближение и такая близость делает людей счастливыми, делает счастливыми и прочными семьи, делает нерасторжимой человеческую дружбу, является источником внутреннего духовного обогащения.

И вот хотелось бы снова вернуться к христианской традиции. В ней оодержится вот такая удивительная истина: более блажен тот, кто дает, чем тот, кто принимает. А на языке Библии блаженный есть не что иное, кто синоним счастливому.

Итак, более счастлив тот, кто дает, чем тот, кто принимает. Почему? Да потому, что когда мы даем что-то человеку, то мы поневоле уступаем ему в своей собственной душе, в своем собственном внутреннем мире частицу для него, впускаем его в свою внутреннюю, скрытую от постороннего взгляда жизнь. Делаем его нашим ближним, а значит и самих себя обогащаем, устанавливаем с этим человеком такой контакт, ценнее которого, пожалуй, ничего на свете нет. Ведь понятие человеческого счастья, оно обусловлено системой человеческих отношений. И если эти человеческие отношения становятся просветленными вот этой внутренней, исходящей из сердца нашего близостью, то это и является условием подлинного и непреходящего человеческого счастья.

Вот как удивительно: человек становится счастливым от того, что он дает. Но ведь кто-то из скептиков может сказать: «Да, простите, но ведь весь наш опыт свидетельствует о другом. Ведь мы становимся вроде бы как... как-то счастливыми, когда что-то приобретаем, что-то получаем: будь то деньги, вещи, власть, положение в обществе». Ну а наиболее последовательные скептики скажут: «Это ж вроде как-то в природу человеческую заложено, и ведь рука устроена так, что она к себе тянет, и ребенок в младенческом возрасте на себя одеяльце натягивает». Может ли быть построение человеческого счастья вопреки логике биологической жизни?

И вот. Да, человеческое счастье строится вопреки логике наших физиологических инстинктов. Именно это Человеческое, с большой буквы, счастье и создается в противоборстве с этой биологической логикой.

Как доказать это? Предвижу скептиков, которые скажут: «Докажи!» Ну что ж, может быть, для многих будет доказательством жизнь миллионеров, которая вдруг неожиданно заканчивается самоубийством. Что не хватало этим людям, известия о трагической кончине которых время от времени

доносят нам средства массовой информации? Материальное изобилие, мир, лежащий у ног... И уходит такой человек из жизни, хлопнув дверью. А ведь счастливый не уйдет так из жизни. Это может быть самое простое и самое наглядное подтверждение тому, что обладание не означает счастья, что владеть чем-то отнюдь не означает быть счастливым.

Но опять-таки многовековой опыт свидетельствует, что самоотдача, соучастие, милосердие в полном и подлинном смысле этого замечательного слова обогащают человека, создают его счастье. В каком-то смысле это тайна. Как и многое из того, что связано с человеческим бытием.

Но эта тайна открывается на опыте. Невозможно принять все то, что сейчас было сказано, что называется с ходу. Это можно принять, в это можно поверить, только испытав смысл, значение и подлинность этих слов на своем собственном опыте.

И потому я бы хотел, обращаясь сегодня к вам, дорогие телезрители, сказать: попробуйте, попробуйте, попробуйте сделать доброе дело, как бы странным это доброе дело вам ни казалось, как бы оно ни противоречило логике так называемого здравого смысла. Попробуйте впустить в свое внутреннее Я, в свой внутренний мир человека, который рядом с вами, который нуждается в вас, который страдает. И вы почувствуете, как этот человек перестанет в одночасье быть для вас среднестатистической единицей, как он станет личностью, частью вашего собственного Я.

И сегодня я бы хотел обратиться к тем, кто главным принципом своей жизни полагает обладание. Особенно же к тем, кто считает, что для того, чтобы обладать, можно использовать любые средства. Я обращаюсь сейчас к тому, что собирается выйти на улицу и в этот вечер сорвать шапку с головы прохожего, для того чтобы поправить свое материальное благополучие. Я обращаюсь сейчас к тем, кто думает, как бы ему за счет ближнего своего жить получше, побогаче, повольготнее. Вы заблуждаетесь, мои братья и сестры. На этом пути вы не постройте своего счастья, вы не будете счастливыми. И если можете, остановитесь. Если можете, попытайтесь вместо того, чтобы взять, дать.

Предвижу скептическую улыбку или, может быть, даже безразличное или раздраженное выражение лица. Я не призываю вас верить тому, что я говорю. Я призываю вас попробовать. Попробуйте! И если мы сегодня или завтра все вместе попробуем это сделать, то мы увидим, как светлее, счастливее и радостнее становится наша обычная человеческая жизнь.

**Рождественское послание патриарха Московского
и всея Руси Алексия Второго архипастырям, пастырям
и всем верным чадам Русской православной церкви**

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, болюбтивные отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Святая Церковь ведет нас к великому празднику Рождества Христова сорокадневным постом, а в предрождественские дни она готовит нас к его достойной встрече особыми песнопениями. И только что услышанные нами слова стихиры свидетельствуют, что ни золота, ни смиры (это состав из дорогих благовонных веществ), ни ливана (то есть драгоценного ладана), ни других земных ценностей от нас не требуется. Богомладенец Христос ожидает от нас духовных даров и дел добра и милосердия. Святитель Иоанн Златоуст называет эти дары, указанные святым апостолом Павлом (1 Кор. 13, 13): вера, надежда, любовь.

Благодарение Богу, мы сегодня вновь празднуем Рождество Христово. Но совершаем мы сей великий праздник все еще в очень трудных условиях жизни суверенных государств, проходящих ныне через неизбежный сложнейший процесс коренного переустройства своего бытия. К величайшей скорби, эти изменения сопровождаются болезненным напряжением в политической, социальной, экономической сферах жизни общества, мучительными, а порой и кровотокащими межнациональными конфликтами и вооруженными столкновениями. Мы глубоко сострадаем жертвам этих столкновений и молимся о бедствующих и гибнущих братьях и сестрах наших. Сострадание к обездоленным, к беженцам, сиротам, больным и инвалидам нам следует проявлять через активное добродетельное, к которому нас призывает Господь в Своей беседе с учениками о Страшном Суде (Мф. 25, 32—46).

Отцы и подвижники Святой Церкви напоминают нам, что праздник Рождества Христова — это праздник мира, любви, единения, братолюбия. Святой праведный Иоанн Кронштадтский в одном из своих поучений на Рождество Христово приводит слова святителя IV века Григория Нисского: «Ты должен погашать ненависть, прекращать вражду и мщение, уничтожать ссоры, изгонять лицемерия, угашать тлеющее в сердце памятозлобие и вместо него вводить любовь, радость, мир, благость, великодушие».

Таковыми должны быть мы с вами, братья и сестры, как чада Святой Православной Церкви. Ибо Церковь является опорой, основанием и провозвестницей высоких принципов православной нравственности.

Богу содействующу, созидая добрую нравственность в самих себе, в своих близких, в духовных чадах, архипастыри и пастыри, иноки и миряне — все мы, по долгу нашей христианской совести и православного призвания, обязаны словом и делом противостать всему, что наносит вред духовной природе человека, что разрушает основы доброй семьи; мы должны противодействовать и тому злу, которое разлагает наше общество изнутри и извне: мстительности и нетерпимости, недоверию и озлобленности, подозрительности и лени, обману и равнодушию, пьянству и наркомании и связанным с ними другим формам нравственной распущенности...

Минувший год был для нашей Церкви и радостным, и горестным одновременно.

Нашу церковную жизнь омрачал пагубный по своей сути раскол, искусственно внедренный в Украинскую Православную Церковь и приносящий немалые страдания ее иерархам, клиру, монашествующим и мирянам. По-прежнему вызывает глубокую горечь недопустимое, греховное и антиканоническое вмешательство в нашу церковную жизнь Зарубежной Русской Церкви. Причиняют вред нашей Церкви некоторые инославные конфессии и секты, использующие тот духовный вакуум, который образовался в послереволюционное время на нашей канонической территории, и осуществляющие активную прозелитическую деятельность.

Но Господь не без милости. Мы должны возблагодарить Его и за посылаемые нам испытания, и за даруемые нам благодеяния. В минувшем году мы переживали глубокую духовную радость по случаю многих значительных церковных событий.

Весной ушедшего года совершилось чудесное обретение и торжественное перенесение святых мощей великого исповедника нашей Церкви святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси. Минувшим летом были прославлены в лике святых родители Преподобного Сергия Радонежского — преподобные Кирилл и Мария — для общецерковного их почитания. Совершенно прославление новомучеников Российских; святителя Владимира — митрополита Киевского, святителя Вениамина — митрополита Петроградского, архимандрита Сергия, мирян Юрия и Иоанна, великой княгини Елисаветы, инокини Варвары. Осень ознаменовалась перенесением из Санкт-Петербурга в Соловецкую Спасо-Преображенскую обитель святых мощей соловецких подвижников и чудотворцев — преподобных Зосимы, Савватия и Германа — и широким церковно-общественным молитвенным празднованием 600-летия со дня преставления Преподобного отца нашего Сергия Радонежского, чудотворца. <...>

Дорогие мои о Господе собратия-архипастыри, досточтимые отцы, честные иноки и инокини, возлюбленные братия и сестры! С любовью и радостью поздравляю всех вас с великим и достославным праздником Рождества Христова и Новолетием! Пребывайте в духовном и телесном здравии, в радовании о Господе, о Его Пречистой Матери, о всех угодниках Божиих. Сохраняйте неизменно мир в ваших душах и в отношениях с дальними и ближними. Неустанно творите повседневную молитву, неукоснительно посещайте храм Божий как место общей церковной молитвы, постоянно совершайте чтение слова Божия, воспитывайте детей в любви к Святой церкви и Родине. Призываю всех вас к твердому стоянию за веру православную, к ненарушимой верности и преданности Матери-Церкви.

Каждый из нас должен помогать друг другу, поддерживать слабых и нуждающихся, проявлять взаимное терпение и самоотверженность во имя Господа, для умножения любви к окружающим нас, дабы мы, поддерживая друг друга, смогли преодолеть выпадающие на нашу долю испытания.

Господь, по вере нашей, примет и труд наш, и молитву, и возносимую ему хвалу.

«Днесь Христос в Вифлееме раждается от Девы... Мы же непрестанно вопием: «Слава в вышних Богу и на земли мир, во человецех благоволение» (Лк. 2. 14).

1993 г.

IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЧИ

П. А. Столыпин

**Речь о земельном законопроекте и землеустройстве
крестьян, произнесенная в Государственной Думе
5 декабря 1908 года**

Господа члены Государственной Думы!

Если я считаю необходимым дать вам объяснение по отдельной статье, по частному вопросу, после того, как громадное большинство Государственной Думы высказалось за проект в целом, то делаю это потому, что придаю этому вопросу коренное значение. В основу закона 9 ноября положена определенная мысль, определенный принцип. Мысль эта, очевидно, должна быть проведена по всем статьям законопроекта; выдернуть ее из отдельной статьи, а тем более заменить ее другой мыслью — значит исказить закон, значит лишить его руководящей идеи. А смысл закона, идея его для всех ясна. В тех местностях России, где личность крестьянина получила уже определенное развитие, где община как принудительный союз ставит преграду для его самостоятельности, там необходимо дать ему свободу приложения своего труда к земле, там необходимо дать ему свободу трудиться, богатеть, распоряжаться своей собственностью; надо дать ему власть над землею, надо избавить его от кабалы отживающего общинного строя. (Голоса в центре и справа: браво.)

Закон вместе с тем не ломает общины в тех местах, где хлебопашество имеет второстепенное значение, где существуют другие условия, которые делают общину лучшим способом использования земли. Если, господа, мысль эта понятна, если она верна, то нельзя вводить в закон другое понятие, ей противоположное; нельзя, с одной стороны, исповедовать, что люди созрели для того, чтобы свободно, без опеки располагать своими духовными силами, чтобы прилагать свободно свой труд к земле так, как они считают это лучшим, а с дру-

гой стороны, признавать, что эти самые люди недостаточно надежны для того, чтобы без гнета сочленов своей семьи распоряжаться своим имуществом.

Противоречие это станет еще более ясным, если мы дадим себе отчет в том, как понимает правительство термин «личная собственность» и что понимают противники законопроекта под понятием «собственности семейной». Личный собственник, по смыслу закона, властен распоряжаться своей землей, властен закрепить за собой свою землю, властен требовать отвода отдельных участков ее к одному месту; он может прикупить себе земли, может заложить ее в Крестьянском банке, может, наконец, продать ее. Весь запас его разума, его воли находится в полном его распоряжении: он в полном смысле слова кузнец своего счастья. Но, вместе с тем, ни закон, ни государство не могут гарантировать его от известного риска, не могут обеспечить его от возможности утраты собственности, и ни одно государство не может обещать обывателю такого рода страховку, погашающую его самостоятельность.

Государство может, оно должно делать другое: оно должно обеспечить определенное владение не тому или иному лицу, а за известной группой лиц, за теми лицами, которые прилагают свой труд к земле; за ними оно должно сохранить известную площадь земли, а в России это площадь земли наделной. Известные ограничения, известные стеснения закон должен налагать на землю, а не на ее владельца. Закон наш знает такие стеснения и ограничения, и мы, господа, в своем законопроекте ограничения эти сохраняем: наделная земля не может быть отчуждена лицу иного сословия; наделная земля не может быть заложена иначе, как в Крестьянский банк; она не может быть продана за личные долги; она не может быть завещана иначе, как по обычаю.

Но что такое семейная собственность? Что такое она в понятиях тех лиц, которые ее защищают, и для чего она необходима? Ею, во-первых, создаются известные ограничения, и ограничения эти относятся не к земле, а к ее собственнику. Ограничения эти весьма серьезны: владелец земли, по предложению сторонников семейной собственности, не может, без согласия членов семьи, без согласия детей домохозяина, ни продавать своего участка, ни заложить его, ни даже, кажется, закрепить его за собой, ни отвести надел к одному месту: он стеснен во всех своих действиях. Что же из этого может выйти?

Возьмем домохозяина, который хочет прикупить к своему участку некоторое количество земли; для того, чтобы заплатить верхи, он должен или продать часть своего надела, или продать весь надел, или заложить свою землю, или, наконец,

занять деньги в частных руках. И вот дело, для осуществления которого нужна единая воля, единое соображение, идет на суд семьи, и дети, его дети, могут разрушить зрелое, обдуманное, может быть, долголетнее решение своего отца. И все это для того, чтобы создать какую-то коллективную волю?! Как бы, господа, не наплодить этим не одну семейную драму. Мелкая семейная община грозит в будущем и мелкою чересполосицей, а в настоящую минуту она, несомненно, будет парализовать и личную волю, и личную инициативу поселения.

Во имя чего все это делается?

Думаете ли вы этим оградить имущество детей отцов пьяных, расточительных или женившихся на вторых женах? Ведь и в настоящее время община не обеспечивает их от разорения; и в настоящее время, к несчастью, и при общине родился сельский пролетариат; и в настоящее время собственник наделного участка может отказаться от него и за себя, и за своих совершеннолетних сыновей. Нельзя создавать общий закон ради исключительного, уродливого явления, нельзя убивать этим кредитоспособность крестьянина, нельзя лишать его веры в свои силы, надежды на лучшее будущее, нельзя ставить преграды обогащению сильного для того, чтобы слабые разделили с ним его нищету.

Не разумнее ли идти по другому пути, который широко перед вами развил предыдущий оратор, г-р. Бобринский Второй? Для уродливых, исключительных явлений надо создавать исключительные законы; надо развить институт опеки за расточительность, который в настоящее время Сенат признает применимым и к лицам сельского состояния. Надо продумать и выработать закон о недробимости участков. Но главное, что необходимо, это, когда мы пишем закон для всей страны, иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых. (Рукоплескания центра.)

Господа, нужна вера. Была минута, и минута эта недалеко, когда вера в будущее России была поколеблена, когда нарушены были многие понятия; не нарушена была в эту минуту лишь вера Царя в силу русского пахаря и русского крестьянина. (Рукоплескания справа и в центре.) Это было время не для колебаний, а для решений. И вот, в эту тяжелую минуту правительство приняло на себя большую ответственность, проведя в порядке ст. 87 закон 9 ноября 1906 г., оно делало ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных. Таковых в короткое время оказалось около полу-миллиона домохозяев, закрепивших за собой более 3 200 000 десятин земли. Не парализуйте, господа, дальнейшего развития этих людей и помните, законодательствуя, что

таких людей, таких сильных людей в России большинство. (Рукоплескания центра и отдельные — справа).

Многих смущает, что против принципа личной собственности раздаются нападки и слева, и справа, но левые, в данном случае, идут против принципов разумной и настоящей свободы. (Голос слева: здорово; голос из центра: верно.) Неужели не ясно, что кабала общины, гнет семейной собственности является для 90 миллионов населения горькой неволей? Неужели забыто, что этот путь уже испробован, что колоссальный опыт опеки над громадной частью нашего населения потерпел уже громадную неудачу? (Голос из центра: верно.)

Нельзя возвращаться на этот путь, нельзя только на верхах развешивать флаги какой-то мнимой свободы (голос из центра: браво). Необходимо думать и о низах, нельзя уходить от черной работы, нельзя забывать, что мы призваны освободить народ от нищенства, от невежества, от бесправия. (Бурные рукоплескания центра и на некоторых скамьях справа; голос слева: а от виселиц?) И настолько нужен для переустройства нашего царства, переустройства его на крепких монархических устоях, крепкий личный собственник, настолько он является преградой для развития революционного движения, видно из трудов последнего съезда социалистов-революционеров, бывшего в Лондоне в сентябре настоящего года.

Я позволю себе привести вам некоторые положения этого съезда. Вот то, между прочим, что он постановил: «Правительство, подавив попытку открытого восстания и захвата земель в деревне, поставило себе целью распылить крестьянство усиленным насаждением личной частной собственности или хуторским хозяйством. Всякий успех правительства в этом направлении наносит серьезный ущерб делу революции». (Бурные рукоплескания центра). Затем дальше: «С этой точки зрения современное положение деревни прежде всего требует со стороны партии неуклонной критики частной собственности на землю, критики, чуждой компромиссов со всякими индивидуалистическими тяготениями».

Поэтому сторонники семейной собственности и справа, и слева, по мне, глубоко ошибаются. Нельзя, господа, идти в бой, надевши на всех воинов броню или заговорив всех от их поранений. Нельзя, господа, составлять закон, исключительно имея в виду слабых и немощных. Нет, в мировой борьбе, в соревновании народов почетное место могут занять только те их них, которые достигнут полного напряжения своей материальной и нравственной мощи.

Поэтому все силы и законодателя и правительства должны быть обращены к тому, чтобы поднять производительные

силы единственного источника нашего благосостояния — земли. Применением к ней личного труда, личной собственности, приложением к ней всех, всех решительно народных сил необходимо поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу истощенную землю, так как земля — это залог нашей силы в будущем, земля — это Россия. (Бурные рукоплескания центра и на некоторых скамьях справа; иронические восклицания слева.)

А. Н. Толстой

Несколько слов перед отъездом

Я уезжаю с семьей на Родину, навсегда. Если здесь, за границей, есть люди, которым я близок, — мои слова — к вам. Я еду на радость? О нет: России предостоят не легкие времена. Снова ее охватывает круговая волна ненависти. Враждебный ей мир вооружается резиновыми палками.

Мир этот не сошел с ума. Мир поумнел за последние пять лет. Теперь даже юный спекулянт в роговых очках понимает, что есть три сферы жизни: 1) Америка, где люди ходят по шее в долларах, 2) Европа, где о долларах мечтают в горячих сновидениях, и 3) Россия, дикая, сумасшедшая страна, где противно здравому смыслу утверждают: «Хорошо то, что истинно». Поставить истину выше валюты может или сумасшедший, или дурак, или очень хитрый и опасный негодяй. Если бы к тому же истина была безобидна!

События всегда доходят до конца, где их энергия разряжается. Историческая закономерность ужасна, как ползущая гора. Отсюда — обреченность поколений.

Молодой человек в роговых очках не хочет больше лжи. Довольно идеализма! Шиллер мог быть выдуман при керосиновых лампах, при средней скорости передвижения — десять километров в час.

Доллар — вот право на жизнь. В нем не только грубая покупная сила, в нем заря нового идеализма, романтические чудеса. Молодой человек в черепаховых очках разглаживает на столике кафе узкую бумажку доллара, глядит в нее и — открывается ослепительное видение: царь мира, Джиппи Морган. В котелке, надвинутом на глаза, он поднимается по ступеням нью-йоркской биржи. Двадцать тысяч глаз впиваются в его длинное, мертвенное лицо. Сигара у него в левом углу рта. Девизы летят вниз. В шикарных особняках пишут предсмертные записки и стреляются. На заводах рассчитывают ра-

бочих. Жалкий обыватель, скопивший доллар на черный день, — с растрепанной головой бежит менять бумажку.

Назавтра Джиппи Морган в надвинутом на глаза котелке поднимается по ступеням биржи. Длинное лицо его — мертво. Сигара — в правом углу рта... Девизы летят вверх. В шикарных особняках (других) пишут предсмертные записки и стреляются. На рынках исчезают продукты. Рабочие безумными глазами глядят в витрины съестных лавок. Жалкий обыватель, разменявший давеча валюту, видит, как дешевые знаки гниют у него между пальцами.

Еще не такие чудеса можно видеть, если хорошенько взглянуть в длинную зелененькую бумажку. При внимании можно увидеть толпы людей, пораженных горячкой голода и отчаяния. Пожарища. Летящие стекла великолепных зданий. Дымы выстрелов. Клубки трамвайных проводов. Грузовики, оштетиненные штыками. Красные знамена. Черные знамена... Черный, черный цвет покрывает Европу.

А там (в Москве) на трехгранном обелиске написано: «Кто не работает, тот не ест». Там утверждают, что истина — в справедливости; справедливость в том, чтобы каждый осуществил право на жизнь; право на жизнь — труд. Государство берет на себя эту задачу — провести в жизнь эти принципы. Это волевое устремление проявляется в диктатуре. Диктатура государственной власти действует между крайними точками: военной борьбой и неподвижностью растительной жизни. Идея государства (коллектив) мыслится выше идеи личности. Коллектив понимается как понятие качественное, а не количественное (то есть собрание личностей). Личность свободна, покуда ее воля не направляется на разрушение коллектива. Такова Россия в пятый год революции, через девять лет после начала мировой войны.

В этой суровой картине как будто — противоречие. Цель революции (русской) — совершенное раскрепощение личности от государственных, экономических и социальных зависимостей. А между тем в России личность более подчинена коллективу, чем вне России. Это так. По этому поводу многие негодуют и сердятся. Но разве во время битвы солдат ищет свободы? Он ищет победы. Россия живет сейчас под знаком воли к победе. Она вся в движении, в устремлении, она еще живет исторически, быт еще — текуч, вода еще не отстоялась. Государственная власть — организует и строит. Задачи трудны и грандиозны: Россия раскинута на полмира.

В России личность идет к освобождению, через утверждение и создание мощного государства. В Европе (в 1923 г.) личность свободна. Индивидуум осуществляет свою свободу

на ступенях биржи, спекулируя девизами. И пусть прекрасные одиночки пишут прекрасные книги о свободе духа, — молодой человек в черепаховых очках заставит мечтателей есть картофельную шелуху, а завтра — дышать свежим воздухом за неимением пищевых продуктов, а послезавтра — таскать кирпичи на стройку шикарного особняка (где молодой человек, конечно, застрелится, не угадав в один прекрасный день — в каком углу сигара у Джиппи Моргана).

Итак, пока что, молодой человек в черепаховых очках покупает резиновую палку: «Нужно решительно покончить с революцией». Вот с ним-то и встречается теперь Россия, — с этим человекоподобным. Борьба не скорая, не легкая. Борьба последышей мира старого с первым поколением нового мира:

Я вижу иронические улыбки. О, не улыбайтесь так поспешно. Подождите немного, не более года. Ведь события идут так стремительно, как будто мы перелистываем книгу истории. Ведь еще недавно в России говорили не иначе, как о стране голода и ужаса, а нынче государством готовится к вывозу излишек урожая в двести миллионов пудов. Ведь распавшееся на части государство собрано вновь. Ведь в то время когда силы европейского рабочего направлены на минимум, — на удержание за собой права не умереть с голоду, — силы русского рабочего направлены на максимум — на возрождение и укрепление своего государства.

Все это так. То, что в России, — несовершенно. Но именно в русской революции загорелась полоса новой зари. Чудовищное время, когда у человека вместо лица — высокая валюта — минет. Мы очнемся когда-нибудь от этого тошного сна. Океаны не могут мгновенно высохнуть, земля не лишится в одни сутки зеленого покрова. Человечество не может сразу безнадежно пропасть. Отпадает умершая ветвь культуры, и рядом расцветает новая. Старая культура под знаком: «Человек человеку — волк», — дошла до резиновых палок. Она будет бороться и сопротивляться, но эта эпоха гибели будет ужасна, бесчеловечна, как бесчеловечен человекоподобный в страшной бумажной маске.

Я возвращаюсь домой на трудную жизнь. Но победа будет за теми, в ком пафос правды и справедливости, — за Россией, за народами и классами, которые пойдут с ней, поверят в зарю новой жизни. И тогда увидим с порогов мировых своих жилищ успокоенную землю, мирные поля, волнующиеся хлеба. Птицы будут петь о мире, о покое, о счастье, о благословенном труде на земле, пережившей злые времена.

Выступление на Первом съезде народных депутатов СССР

Уважаемые депутаты, я хочу выступить в защиту двух принципиальных положений, которые стали основой проекта повестки дня, составленного группой московских депутатов в результате длительной работы. Этот проект был поддержан также рядом депутатов из других регионов страны.

Мы исходим из того, что данный Съезд является историческим событием в биографии нашей страны. Избиратели, народ избрали нас и послали на этот Съезд для того, чтобы мы приняли на себя ответственность за судьбу страны, за те проблемы, которые перед ней стоят сейчас, за перспективу ее развития. Поэтому наш Съезд не может начинать с выборов. Это превратит его в съезд выборщиков. Наш Съезд не может отдать законодательную власть одной пятой своего состава. То, что предусмотрена ротация, это ничего не меняет, тем более что в спешке, очевидно, ротация составлена так, что только 36 процентов — я основываюсь на Конституции — только 36 процентов депутатов имеют шанс оказаться в составе Верховного Совета. На этом основан первый принципиальный тезис положения, содержащийся в проекте, представленном московской группой.

Я предлагаю принять в качестве одного из первых пунктов повестки дня Съезда декрет Съезда народных депутатов СССР. Мы переживаем революцию, перестройка — это революция, и слово «декрет» является самым подходящим в данном случае. Искключительным правом Съезда народных депутатов СССР является принятие законов СССР, назначение высших должностных лиц СССР, Председателя Комитета народного контроля СССР, Председателя Верховного Суда СССР, Генерального прокурора СССР, Главного государственного арбитра СССР. В соответствии с этим должны быть внесены изменения в те статьи Конституции СССР, которые касаются прав Верховного Совета СССР. Это, в частности, статьи 108 и 111.

Второй принципиальный вопрос, который стоит перед нами, — это вопрос о том, можем ли мы, имеем ли мы право избирать главу государства — Председателя Верховного Совета СССР до обсуждения, до дискуссии по всему тому кругу политических вопросов, определяющих судьбу нашей страны, которые мы обязаны рассматривать. Всегда существует порядок: сначала обсуждение; представление кандидатами их платформ, а затем уже выборы. Мы опозорим себя перед

всем нашим народом — это мое глубокое убеждение, если поступим иначе. Этого мы сделать не можем.

Я неоднократно в своих выступлениях выражал поддержку кандидатуре Михаила Сергеевича Горбачева. Этой позиции я придерживаюсь и сейчас, поскольку я не вижу другого человека, который мог бы руководить нашей страной. Но это я не вижу в данный момент. Моя поддержка носит условный характер.

Я считаю, что необходимо обсуждение, необходим доклад кандидатов, потому что мы должны иметь в виду альтернативный принцип всех выборов на данном Съезде, в том числе и выборов Председателя Верховного Совета СССР. Я говорю слово «кандидатов», хотя считаю вполне возможным, что других кандидатов не будет. А если они будут, то мы будем говорить во множественном числе. Кандидаты должны представить свою политическую платформу. Михаил Сергеевич Горбачев, который был родоначальником перестройки, с чьим именем связано начало процесса перестройки и руководство страной на протяжении четырех лет, должен сказать о том, что произошло в нашей стране за эти четыре года. Он должен сказать и о достижениях, и об ошибках, сказать об этом самокритично. И от этого тоже будет зависеть наша позиция. Самое главное, о чем он должен сказать, — что собираются делать в ближайшем будущем он и другие кандидаты, чтобы преодолеть то чрезвычайно трудное положение, которое сложилось в нашей стране, что они будут делать в перспективе... (Шум в зале.)

Я не буду перечислять все вопросы, которые считаю нужным обсудить. Они содержатся в нашем проекте. С этим проектом, я надеюсь, депутаты ознакомлены. Но, заканчивая, я надеюсь, что Съезд окажется достойным той великой миссии, которая перед ним стоит, он демократически подойдет к стоящим перед ним задачам.

Д. С. Лихачев

Речь на I Съезде народных депутатов СССР

Уважаемый товарищ президент! Уважаемые товарищи депутаты! Буду говорить только о состоянии культуры в нашей стране, и главным образом о гуманитарной, человеческой ее части. Я внимательно изучил предвыборные платформы депутатов. Меня поразило, что в подавляющем большинстве из них даже не было слова «культура». На самом Съезде слово «культура» было проходным образом произнесено только на

третий день. И сейчас об этом говорил Михаил Сергеевич Горбачев.

Между тем без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной нравственности не действуют и социальные законы, экономические законы, не выполняются указы и не может существовать современная наука, ибо трудно, например, проверить эксперименты, стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» и так далее.

Низкая культура нашей страны отрицательно сказывается на нашей общественной жизни, государственной работе, на наших межнациональных отношениях, так как национальная вражда одной из причин имеет низкую культуру. Люди высокой культуры не враждебны к чужой национальности, к чужому мнению и не агрессивны. (Аплодисменты.) Незнание элементарной формальной логики, элементов права, отсутствие воспитанного культурой общественного такта отрицательно сказывается даже на работе нашего Съезда. Я думаю, это не надо пояснять.

К сожалению, в отношении культуры действует еще остаточный принцип. Об этом свидетельствует даже Академия наук Советского Союза, где гуманитарной культуре отведено последнее место. Посмотрите справочник Академии наук. Места русской культуре в нем почти нет.

О крайне низком состоянии культуры в нашей стране свидетельствует, во-первых, состояние памятников культуры и истории. Это перед глазами у всех, я не буду об этом говорить. Во-вторых, это состояние библиотек и архивов. О последних, кстати сказать, было хорошо написано в предпоследнем номере «Советской культуры». И так дело обстоит как в самых крупных библиотеках, так и в мелких, сельских. В-третьих, состояние музеев, состояние образования, в первую очередь — среднего и начального, где закладывается культура человека.

Начну с библиотек. Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, институтов, научных учреждений, но если библиотеки есть, если они не горят, не заливаются водой, имеют помещения, оснащены современной техникой, возглавляются не случайными людьми, а профессионалами — культура не погибнет в такой стране. (Аплодисменты.) Между тем наши важнейшие библиотеки в Москве, в Ленинграде и в других городах горят, как свечи. В Ленинграде в особенности. Заливаются водой, не имеют современных тушительных средств, не имеют современной аппаратуры, крайне стеснены в помещениях. Приведу только один пример. Библиотека Ленинградского университета еще в 1900 году ставила вопрос о недостатке помещения, но до сих пор не

построено ни одного дополнительного помещения. У нас в стране нет ни одной (ни одной!) библиотеки, полностью оборудованной современной библиотечной техникой. Даже в главной библиотеке страны имени В. И. Ленина, о которой я особенно забочусь, хотя меня там оскорбляют, возникают мелкие пожары. Сравните с библиотекой конгресса в Соединенных Штатах. Что же говорить о сельских библиотеках? Районные библиотеки часто закрываются (это в Москве, например, Некрасовская библиотека), потому что нужны их помещения для других целей. То же самое в Ленинграде.

Библиотечные работники, обращенные непосредственно к читателю, я подчеркиваю, что говорю не об администраторах, а о работниках, обращенных непосредственно к читателю, то есть те, кто должен уметь рекомендовать книгу, не имеют времени сами читать и знать книгу, журнал, ибо влачат полунисщенское существование. Можете посмотреть газету «Советская культура» от 23 апреля 1989 года, там все правильно. Средняя зарплата библиотекаря — 110 рублей. Это при средней зарплате 220 рублей в 1988 году. Библиотекари сельских районов, которые должны быть главными авторитетами в селе, воспитывать людей, рекомендовать книгу, получают 80 рублей. Между тем Россия в XIX веке — вопреки мифу о ее якобы отсталости — была самой передовой библиотечной державой мира. Это я могу утверждать, но это я не могу сейчас доказать. Напомню, что в 1918—1920 годах на заседаниях Совнаркома вопрос о библиотеках рассматривался тридцать один раз, а если говорить о комиссиях Совнаркома, то больше пятидесяти раз.

Теперь о музеях. Здесь аналогичная картина — допотопная техническая оснащенность. Зарплата работников, обращенных к человеку, к вещам, — не администраторов, а реставраторов, хранителей, экскурсоводов — недопустимо низка. А они, именно они, настоящие энтузиасты, как и «низшие» библиотечные работники. Особенно неудовлетворительно бедственное положение реставраторов — если они не халтурят. Там они зарабатывают очень много, особенно в кооперативах.

Мы обладаем несметными музейными богатствами, несмотря на все распродажи, частично продолжающиеся и сейчас. Но положение памятников культуры низко, и мы вынуждены приглашать реставраторов из Польши, Болгарии и Финляндии, что обходится во много раз дороже. В Русском музее в Ленинграде, который, кстати, значительно больше Третьяковки, нет достаточного числа мастеров-реставраторов, так как на нищенскую зарплату не проживешь. То же у реставраторов Кремля. Вчера в обеденный перерыв я ходил в реставрационные мастерские Кремля, лазил по железной при-

ставной лестнице на чердачное помещение. Интересно, кто из министров культуры ходил в эти мастерские? Я думаю, что и забраться им было трудно. Реставратор первой категории Кремля московского получает 150 рублей. Что значит первая категория реставратора? Это равно доктору наук. Таковы требования к реставраторам первой категории. В Русском музее в Ленинграде нет учеников реставраторов, потому что в ученики реставраторов не идут: слишком мала зарплата.

Школы у нас — опять-таки та же картина и даже хуже. Детей и педагогов надо сейчас просто защищать. Учителя школ не имеют авторитета, не имеют времени пополнять свои знания. Я могу привести примеры, но не буду. Преподавание душит различными программами, имитирующими командно-административные методы прошлого, регламентирующими указаниями и низкого качества методиками. Преподавание в средней школе — это прежде всего воспитание. Это творчество педагога, а творчество не может быть вне свободы. Оно требует свободы. Поэтому учитель должен вне программы иметь возможность рассказать ученикам о том, что он сам любит и ценит, прививать любовь к литературе, к искусству и так далее.

Отмечу, что сами ученики отмечают эти серьезные недостатки в нашей печати. Учителя в России были всегда властителями дум молодежи. А нынешней учительнице не хватает средств к существованию и к тому, чтобы более или менее прилично одеться.

Вы скажете, откуда взять деньги, чтобы повышать уровень жизни людей, чьи профессии обращены к человеку, именно к человеку, а не к вещам. Я реалист. Рискую нажать себе врагов среди многих своих товарищей, скажу. Первое. Надо сократить — и очень решительно — чрезвычайно разросшийся и хорошо обеспеченный административный аппарат всех учреждений культуры и министерств. (Аплодисменты). Пусть составители методичек сами преподают по своим методикам и выполняют эти указания, пусть они охраняют памятники, пусть они водят экскурсии, то есть пусть работники министерств работают.

Музеям надо дать средства от доходов Интуриста, которые он получает от наших плохо охраняемых культурных ценностей. Вчера мне сказали, что Интурист готов давать 20 процентов своих доходов на реставрацию памятников. Это великолепная инициатива Интуриста. Следует ее всячески поддерживать и похвалить, чтобы это не осталось только на словах. (Аплодисменты.) Необходимо отчислять на культуру больше средств от сокращения военных расходов, о чем говорил Михаил Сергеевич Горбачев, от сокращения материальной по-

мощи другим странам за счет средств нашего народа, о которой мы мало осведомлены. (Аплодисменты).

Культура не может быть на хозрасчете. Отдача культуры народу, стране неизмеримо больше, чем от возможных непосредственных доходов библиотек, архивов и музеев, чем от любой области экономики и техники. Это я утверждаю. Но отдача эта дается не сразу. Низкое состояние культуры и нравственности, рост преступности сделают бесплодными, бесполезными все наши усилия в любой области. Нам не удастся реформировать экономику, науку, общественную жизнь, и затормозят перестройку, если наша культура будет находиться на нынешнем уровне.

Надо существенно улучшить работу Министерства культуры. К нам в Советский фонд культуры постоянно обращаются по вопросам, не разрешенным в министерствах культуры. Министерства культуры должны заботиться и о периферии. Мы очень много вывозим выставок за рубеж. Но мы не вывозим выставок в наши периферийные города. У нас огромнейшие запасы в музеях. Но устройство выставок на основе этих запасников в периферийных городах для поднятия культурной жизни, культурных интересов города очень редко и очень слабо осуществляется.

Надо обратить особенное внимание на периферийные музеи, на периферийные и сельские библиотеки. Надо устраивать на периферии постоянные выставки из наших запасников.

Должна быть долгосрочная программа развития культуры в нашей стране, которой нет или по крайней мере она мне не известна. Только тогда у нас не будет национальных споров, свидетельствующих о низкой культуре, зато будет нормальная экономическая жизнь, понизится преступность. Возрастет, в частности, и порядочность общественных деятелей.

Позвольте мне прочесть выдержку из одного письма, обращенного к нашему комсомолу, который особенно должен заботиться о поднятии культуры. Это письмо выражает мнение миллионов наших матерей и педагогов. Цитирую: «Поскольку комсомол всяческим образом пытается показать свою целесообразность и необходимость своего существования в качестве именно общественной организации, то его аппарату и народным депутатам, выбранным по линии комсомола, следует взять на себя всю полноту ответственности за состояние дел в стране, связанных с нарастанием детской безнадзорности. По моему мнению, эти товарищи не имеют права на спокойствие до тех пор, пока хотя бы один-единственный малолетний наш согражданин или согражданка терпят надругательства и принуждения со стороны уже подростков, развра-

щенных нашим обществом и теперь развращающих других подростков. Пора многим гражданам, товарищи, оторваться от своих меркантильных забот, от уютных стульев и кресел и в буквальном смысле спуститься в подворотни, подвалы, а может быть, и еще глубже, для активного участия в их жизни с целью прекращения повсеместно происходящих там процессов развращения малолеток».

Судьба Отечества в ваших руках, а она в опасности. Спасибо за внимание. (Аплодисменты.)

1989 г.

РУССКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ

Хрестоматия

Составители: **Купина Н. А., Матвеева Т. В.**

Художник **Гуссис О. А.**

Технический редактор **Подорова Л. Г.**

Сдано в набор 29.04.93. Подписано в печать 23.06.93.
Формат 60×90¹/₁₆. Гарнитура литературная. Печать вы-
сокая. Усл. печ. л. 9,25. Тираж 5000 экз. Заказ 606.
Заказ 606.

Западно-Уральский учебно-научный центр.
614001. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.
МП «Книга».